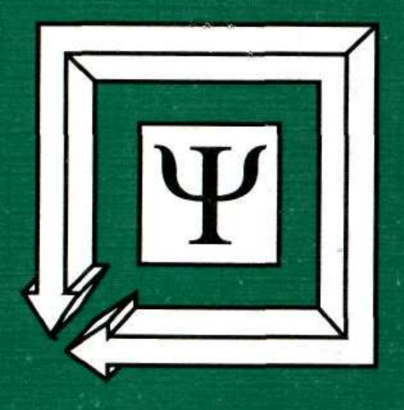
88
Б87

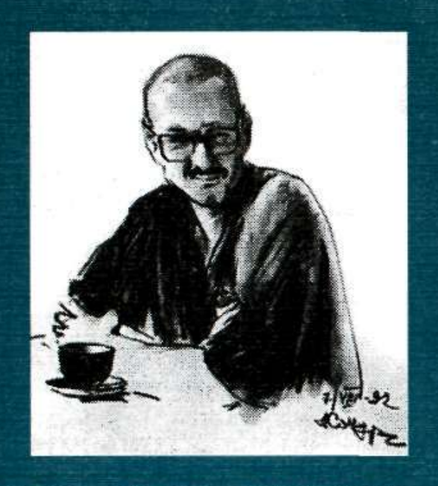
БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

Б. С. Братусь

РУССКАЯ, СОВЕТСКАЯ, РОССИЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Конспективное рассмотрение





БРАТУСЬ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ – доктор психологических наук, профессор факультета психологии Московского государственного университета, заместитель директора Института психологии им. Л. С. Выготского при Российском государственном гуманитарном университете. Действительный член Российской Академии естественных наук, член-корреспондент Российской Академии образования. Основные области исследований: патопсихология, психология личности, философия психологии. Автор и соавтор более 150 публикаций, в том числе 12 книг.

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Б.С. Братусь

РУССКАЯ, СОВЕТСКАЯ, РОССИЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Конспективное рассмотрение

Рекомендовано Координационным Советом по психологии Министерства общего и профессионального образования РФ к использованию в вузах и школах РФ в качестве необходимой учебно-методической литературы

Москва
Московский психолого-социальный институт
Издательство «Флинта»
2000

ББК 88.1
Б 87

Библиотека школьного психолога

Главный редактор *Д.И. Фельдштейн*

Заместитель главного редактора
С. К. Бондырева

Члены редакционной коллегии:
Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, В.П. Борисенков, Т.Н. Волков, И.В. Дубровина, Л.П. Кезина, М.И. Кондаков, М.Ю. Кондратьев, Г. Б. Корнетов, Л.Е. Курнешова, М.Н. Лазутова, В. И. Лубовский, В.Я. Ляудис, Н.Н. Малафеев, З.А. Малькова, В.А. Михайлов, А.М. Подольский, В.В. Рубцов, В.А. Сластенин, В.С. Собкин, Л.С. Цветкова, Б.Ю. Шапиро

Братусь Б.С.
Русская, советская, российская психология: Конспективное рассмотрение. — М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2000. — 88 с.

ISBN 5-89502-117-4 (Московский психолого-социальный институт)
ISBN 5-89349-234-X (Флинта)

Работа представляет собой взгляд на нравственный смысл отечественной психологической науки, ее дореволюционного, советского и постсоветского периодов. В центре внимания — образ человека в психологии, драма его изменения в XX веке, связь с культурой и будущим России. Может быть использована как учебное пособие по общей психологии, истории психологии и психологии личности.

Предназначена для психологов, философов, педагогов, а также любого интеллигентного читателя, интересующегося развитием и перспективами отечественной психологии.

Издано при поддержке РГНФ (проект №99-06-00170а).

ISBN 5-89502-117-4 (Московский психолого-социальный институт)

ISBN 5-89349-234-X (Флинта)

© Московский психолого-социальный институт, 2000

Памяти В. В. Лучкова

Предисловие

Всякая наука обретает конечный смысл лишь в соотнесении с проблемами человека. К психологии это относится в наибольшей степени, ибо она, по определению, претендует на познание столь значимого в человеке как его душа, психика. Исследования, гипотезы, выводы психологии необходимо связаны, подразумевают определенное понимание сущности человека. Причем они не только отражают, иллюстрируют это понимание, но и активно видоизменяют, строят и перестраивают его. Любой отрезок, эпоха в психологии — будь то увлечение психоанализом, появление бихевиоризма или советская психология — это, в конечном итоге, предлагаемые миру способы решения, восприятия проблемы человека, проблемы нравственности, общего назначения и смысла человеческой жизни. Впрочем, связь психологии и общих («проклятых») вопросов человеческого бытия остается пока отнюдь не очевидной для многих, если не большинства психологов, предпочитающих знать, думать лишь о своей узкой предметной области, рассматривая ее как замкнутое в себе движение, связанное в лучшем случае с логикой ближайших, смежных областей. Отступим пока и мы от категорического утверждения и представим сказанное в виде следующей гипотезы, требующей доказательства и подтверждения: *общие проблемы человека, прежде всего вопросы его назначения, сущности, нравственности являются центральными, стержневыми для понимания истори и логики развития той или иной психологической системы или эпохи.* Испытаем теперь эту гипотезу применительно к отечественной научной психологии, кратко и конспективно рассмотрев под данным углом зрения основные ее этапы.

I. ПОТЕРЯ ДУШИ

Начнем с русской дореволюционной психологии. Официальная дата рождения научной психологии относительно близка к нам по времени — это 1879 год, место рождения — немецкий город Лейпциг, лаборатория Вильгельма Вундта. Как принято было в цивилизованном мире, место наибольшего развития той или иной науки сразу привлекло ученых из других стран, приезжавших сюда учиться, работать, спорить, размышлять. Лаборатория Вундта стала в те годы такой точкой притяжения и, естественно, что она была полна учеников, стажеров, визитеров из разных стран. Далеко не последнее место среди них занимали русские посетители. Достаточно назвать громкие для русской науки имена В.М. Бехтерева, В.Ф. Чижа, Н.Н. Ланге, Г.И. Челпанова и др.

Бехтерев стал основателем первой в России Лаборатории экспериментальной психологии, открытой всего 6 лет спустя после вундтовской в 1885 году в городе Казани. Вскоре стали открывать Экспериментально-психологические лаборатории и другие ученики и стажеры Вундта: Ланге в Одессе, Чиж в Дерпте. Центральным, вершинным для всей дореволюционной психологии в России стало открытие в 1912 году в Москве (официальное торжественное открытие в апреле 1914 года) при Императорском Московском университете Психологического института имени Л.Г. Щукиной, построенного на благотворительные пожертвования известного купца С.И. Щукина (единственным условием пожертвователя было называние Института именем своей рано умершей жены — Лидии Григорьевны Щукиной). Основателем и первым директором Института стал профессор Московского университета Г.И. Челпанов. По общему признанию Институт был по тем временам самым большим и наилучшим образом оборудованным в мире. Это было вообще первое в мире здание, построенное специально, по особому проекту для психологического учреждения[1].

[1] Крупнейшие зарубежные психологи - Вундт, Штумф, Кюльпе, Зельц, Титченер, Кетелл и др. прислали свои поздравления и пожелания по случаю открытия. Кюльпе, например, не без доли зависти писал Челпанову: «У нас в Германии нет ничего подобного, что можно было бы поставить рядом с ним (Институтом), хотя я очень доволен моим Мюнхенским Институтом, а Вундт, как он мне писал, хочет надстроить над своим теперешним Институтом еще один этаж».

В мою задачу не входит описание дореволюционной русской психологии, ее особенностей и достижений. Скажу лишь, что ее развитие шло в русле мировой психологической науки и занимало здесь достаточно передовые и почетные рубежи. Например, выпускаемый в 1907—1912 гг. Бехтеревым журнал «Объективная психология» сразу переводился на немецкий, французский, английский языки и по общему признанию сыграл важную роль в истории психологии, в частности в формировании такого течения, как бихевиоризм.

Другой вопрос — как соотносилась русская дореволюционная психология с проблемой человека? Этот вопрос в контексте нашей темы требует специального рассмотрения, поскольку без этого нельзя в полноте понять и смысл последующего за тем советского периода.

Русская психология, как и вся тогдашняя мировая психология, строилась, исходя из естественнонаучных оснований и постулатов. Многие русские ученики и последователи Вундта были невропатологами, физиологами, психиатрами[1] и психология рассматривалась ими как область, на которую следует полностью распространить «естественнонаучный метод». Собственно, само рождение «научной психологии» обязано этому подходу. Ведь психология как знание, слово о душе — область древняя, тысячелетняя — часть философии, этики, теологии. Психология же, как наука, была вырвана из ослабевших рук философии и теологии, укрепившимся в XIX веке материалистическим, естественнонаучным мировоззрением.

На всю Россию прогремели работы И.М. Сеченова и, прежде всего, скандальная по тем временам брошюра «Рефлексы головного мозга», где мышление сводилось к физиологическим и рефлекторным процессам[2]. Позже Сеченов опубликовал статью, в заголовке

[1] Первые экспериментальные психологические лаборатории появились в России именно при психиатрических и неврологических клиниках: уже упомянутые лаборатории Бехтерева в Казани, Чижа в Дерпте, а также Корсакова и Токарского в Москве, Ковалевского в Харькове, Сикорского в Киеве и др.

[2] Сеченова официально собирались привлекать к суду за попрание религиозных устоев, за сведение Божественного дара к низменным процессам. В ответ Сеченов говорил, что если суд состоится, то он явится на него с лягушкой и продемонстрирует на ней прохождение нервного импульса и принцип рефлекса как основ психической деятельности. Брошюра Сеченова читалась и обсуждалась повсюду. По свидетельству очевидца, в России тогда не считался образованным человек, не прочитавший ее. Секрет внимания образованного общества был разумеется не в том, что все были столь увлечены физиологией. «Почему книга Сеченова о рефлексах головного мозга, — спрашивал Челпанов в 1902 году (т.е. через сорок лет после публикации сеченовской работы), — в течение почти четверти века пользовалась особым вниманием нашей интеллигентной публики? Не потому, что это была книга физиологическая, а потому, что она решала философскую проблему». Комментируя эти слова, М.Г.Ярошевский справедливо обозначат эту проблему

которой прямо стоял вопрос «Кому и как разрабатывать психологию?». Ответ Сеченова был совершенно однозначным — разрабатывать только физиологу, естествоиспытателю, и только объективными методами. Поэтому и психологические лаборатории того времени по своему оборудованию и виду часто не многим отличались от физиологических (кимографы, хроноскопы и т.п.). Впрочем, повторим еще раз, это не было спецификой русской психологии, но общим направлением того времени, ее духом — недаром Первый Всемирный конгресс психологов (созванный, стати, по инициативе русского ученого ЮЛ. Охоровича) был назван Конгрессом по физиологической психологии (Париж, 1889 г.). Эпитет «физиологическая» весьма точно отражал суть тогдашней психологии.

Рождение психологии было связано с тем достаточно длительным процессом, который можно было бы условно обозначить как *«снижение вертикали бытия человека»*. Человечество теряло ориентацию на предельную высоту христианских истин, совершался постепенный переход на важный, но более низкий уровень водительства — философию. Последняя долгое время определялась как «служанка теологии», что не было, как многие думают, столь обидным, речь шла ведь, в основном, лишь о реальных приоритетах, соотношениях уровней, определении выше- и нижележащего. Философия, отделившись от своей «госпожи», стала самостоятельной, но вскоре обнаружилось, что утратив столь могущественное и благодатное покровительство, она с необыкновенной быстротой скатывалась к нищенскому состоянию и новой зависимости — на этот раз от воззрений, достижений и хода развития естественных наук. На сцену вышел позитивизм, прагматизм, т.е. философия без философии, ставящая в основание рассуждения результат* позитивного научного исследования. Философия, нагордо ушедшая от теологии, стала служанкой факта. Этот поворот ясно выразил Луи Пастер, который писал: «Дело совершенно не в религии, не в философии, не в какой-либо иной системе. Малосущественны априорные убеждения и воззрения. Все сводится только к фактам».

как проблему человека, поскольку для Сеченова именно объективная наука должна формировать таких людей, которые «не могут не делать добро», которые «в своих действиях руководятся только высокими нравственными мотивами, правдой, любовью к человеку, снисходительностью к его слабостям и остаются верными своим убеждениям, наперекор требованиям всех естественных инстинктов». Поэтому для Сеченова его наука не была самоцелью, ограниченной и конечной задачей, а средством, путем решения проблемы человека, причем, на его взгляд, абсолютно верным: «Только при развитом мною воззрении на действия человека в последнем возможна величайшая из добродетелей человеческих — всепрощающая любовь, т.е. полное снисхождение к своему ближнему» (Человек, 1998, № 2, с. 47).

Такой взгляд, по сути, и был унаследован русской психологией. Это не значит, что не было других взглядов, ведь одновременно шло развитие и иной философии, связанной в России с именами В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, НА Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка и многих других. Однако психология в качестве общих ориентиров избрала именно позитивизм, т.е. резкое снижение «вертикали бытия»[1] и устремилась в основном по этому пути. Причем поначалу ни идеалистическая философия, ни даже религия не отрицались вовсе, но как бы отдалялись, рассматривались как то, что не должно приниматься ученым во внимание. Челпанов писал в 1888 году: «Хотя психология, как обыкновенно принято определять ее, и есть наука о душе, но мы можем приняться за изучение ее «без души», т.е. без метафизических предположений о сущности, непротяженности ее, и можем в этом держаться примера исследователей в области физики». При этом Челпанов не отрицал существования души или трансцендентность человеческого бытия, но разводил это со своими научными занятиями психологией. Существовал еще как бы некий зыбкий, истекающий по времени договор, компромисс между двумя линиями познания; общество и люди не выбрали окончательно, в качестве единственной ту или иную сторону, поэтому философский идеализм или личная вера в Бога могли вполне соседствовать, уживаться с сугубым материализмом в рамках научного мышления. Линия, граница идеализма и материализма была еще очерчена не так жестко — физиологизм касался, по-преимуществу, нижних слоев психики (изучение ощущений, восприятия), тогда как высшие слои — мотивы, эмоции, личность — оставались во многом во власти философского, чаще идеалистического, подхода.

Интересны в этом плане сами фигуры первых психологов, например, Вильгельма Вундта с его физиологизмом в исследовании элементарных процессов и идеализмом в сочинениях по истории народов и философии. Или — если брать отечественную историю — Георгия Челпанова. С одной стороны, Челпанов — автор «Введения в философию», по которому тогдашнее российские гимназисты и студенты знакомились с гносеологией, космологией, формами доказательства бытия Бога, а с другой стороны, он — автор «Введения

[1] Забегая вперед, скажем, что это снижение в дальнейшем пошло еще дальше. Постепенно уже не философия (даже в ее усеченном виде), а сама по себе психология стала рассматриваться как верховная мировоззренческая область, способная объяснять и диктовать общие смыслы и основы бытия человека. Психоанализ, например, из частной психологической теории давно стал системой миропонимания, даже религией многих. Слышатся слова о наступлении особой «психозойской эры», в которой психологи будут полностью проектировать развитие и указывать, в чем следует находить счастье и как жить людям.

в экспериментальную психологию», где подробно описаны виды тахистоскопов, кимографов, плетизмографов, ящиков сопротивлений, даны способы вычисления средних величин, квадратичных ошибок и т.п. Если бы не одно и то же имя на обложке, то нельзя было просто поверить, что эти сочинения написаны одним и тем же человеком.

Однако время компромисса истекало, и ученый люд все более определенно и открыто становился на сторону материализма. Вот характерное свидетельство известного швейцарского ученого Августа Фореля, взятое из его речи на Съезде естествоиспытателей в Вене (1894 г.): «В прежнее время начало и конец большинства научных трудов посвящали Богу. В настоящее время почти всякий ученый стыдится даже произнести слово «Бог». Он старательно избегает всего, что имеет какое-либо отношение к вопросу о Боге, нередко даже в том случае, когда в частной жизни он является приверженцем того или иного ортодоксального исповедания... Гордая своими успехами наука на место Бога поставила себе материалистические кумиры (материя, сила, атом, закон природы), часто не более стойкие, чем осмеиваемые ею религиозные догмы, и начала преклоняться перед ними».

Факты эти известны, однако в истории психологии им не придается того значения, которое они заслуживают. Между тем значение это трудно переоценить. Кончался XIX век, кончался как *эпоха* и *ментальность*. Человек терял свой ореол «образа и подобия Божьего» и становился просто объектом, наряду со всяким иным, который следовало изучать без трепета и благоговения. Началась эра развенчания человека, в которой психология занимала не последние ряды. В мировоззрении все более утверждалась линия материализма. Она побеждала не только в баталиях на университетских кафедрах, в научных лабораториях и на страницах ученых книг (там она как раз могла терпеть и поражения), но как опорная идеология, как восприятие, мода, побуждение к действию у все большего количества людей.

Уже упоминалось, например, о повсеместном распространении и скандале в России с книгой И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», где давалось материалистическое обоснование сложным психическим процессам. Еще более характерным для понимания духа того времени был похожий, (но уже общеевропейского, даже мирового масштаба) скандал, который разразился в связи с книгой немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля «Мировые загадки», вышедшей в 1899 году, где с позиций сугубого материализма давались объяснения не только тайнам природы, но и таинствам религии. Книга к 1907 году разошлась совершенно невиданным по тем временам тиражом — более миллиона экземпляров во всех основных странах Европы и Америки. И хотя у Геккеля появились яростные оппоненты (были даже покушение на его жизнь, вызовы на дуэль за оскорбление святынь и т.п.), большинство приняло книгу с восторгом, как проявление свободной мысли о человеке, как наступление науки на отвлеченную философию и идеализм.

Отметим, ввиду важности, еще раз, что ситуация вокруг книг Геккеля или Сеченова отражала не просто научные споры и полемику ученых. Она отражала перелом в сознании образованных людей[1]. Как некогда Вольтер, Дидро, Монтескье, Руссо предуготовили воздух, слова, образы мыслей для Французской революции 1789 года, так мыслители, публицисты, ученые (добавим — и психологи) готовили приход XX века не как очередной календарной даты, а как новой ментальное™. И когда Ницше провозгласил, что «Бог мертв», это была уже не просто броская, эпатирующая фраза, а констатация того факта, что для человека, вступающего в новый век, Бог стал мертвым словом, ибо этот человек уже не воспринимал себя как Его образ и подобие, но желал светиться собственным светом, из себя лишь исходящим, словом, подготовка к XX веку — веку испытания и наглядной демонстрации того, на что способны и что творится с человеком и человечеством вне и без Бога, — завершилась.

И XX век наступил — не по календарю, а в 1914 году, в августе, когда началась Первая мировая война. В нее вступали страны и народы, не ведая, что настает невиданное доселе время. Поворот свершился окончательно где-то в 1916 году. Тогда немецкое командование впервые в истории использовало отравляющий газ, переменив, нарушив, разорвав прошлые представления о допустимых способах ведения войны и, по свидетельству очевидца, все почувствовали, что последняя грань перейдена и теперь все дозволено и ничего не свято. XX век вступил в свои владения — Октябрьская революция, германский фашизм, сталинский террор стали неизбежны и ждали своей череды.

[1] Серьезность и пагубу этого перелома понимали тогда немногие, а главное, их голоса не были услышаны. Немецкий философ Ф. Паульсен писал, например, о книге Геккеля: «Я читал эту книгу с жутким стыдом за состояние общего образования и философского образования нашего народа. Прискорбно, что оказалась возможность издать такую книгу, что она могла быть написана, напечатана, раскуплена, прочитана, удостоена удивлением и доверием народа, который имеет Канта, Гёте, Шопенгауэра».

II. РЕВОЛЮЦИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Октябрьская революция 1917 года в России была одновременно и катастрофой, переломом в развитии страны[1] и событием закономерным, прямо вытекающим из предшествующей логики, в частности, логики нового мировоззрения и мировосприятия, утвердившихся на рубеже эпох. Это был как бы первый акт богоборческой трагедии, пролог которой в России может быть отнесен еще к середине XIX века, когда в образованных кругах начался постепенный переход на материалистические позиции, увлечение социализмом, непомерное упование на науку и т.п. Ф.М. Достоевский, с болью и тревогой следивший за началом этого развития, использовал сравнение с первым искушением Христа в пустыне, когда к Нему после сорокадневного поста подступил дьявол с предложением превратить камни вокруг в хлеба; Христос отверг этот искус, сказав, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Достоевский писал, что Россия стоит перед этим роковым выбором и предпочитает вместе с Западом поддаться искушению, которое с неизбежностью приведет к катастрофе. Революция семнадцатого года в этом плане — некий итог, резюме предшествующего, в основном теоретического движения по пути соблазна. С этого рубежа начинается его практическая реализация, которая и составляет суть и урок XX века.

Революция принесла в Россию неисчислимые беды — разруху, голод, гражданскую войну, массовую эмиграцию. Из страны уезжали, убегали сотни тысяч людей, виднейшие представители интеллигенции — писатели, поэты, художники, артисты, композиторы. Но надо сказать (на это мало кто обращает внимания), что эмиграция ученых, в особенности естественно-ориентированных, не

[1] Как всегда перед грозой было краткое затишье, последнее успокоение, и годы перед началом войны и революции казались особо продуктивными и многообещающими. В России это время, прежде всего в применении к литературе, поэзии, называют «серебряным веком».

была опустошительной. Более того, основные силы оставались в стране и, несмотря на жуткие условия, были готовы к работе[1]. Одной из причин (причем немаловажной, и — быть может — основной) было то, что большинство ученых имели сугубо позитивистские устремления. Материализм (по крайней мере, в их профессии) был их знаменем и вера в то, что «превращение камней в хлеба» принесет главную пользу человечеству, оставалась ведущей.

Так или иначе в первые 15—20 лет советской власти обнаружился необъяснимый, казалось бы, феномен — несмотря на разруху послереволюционного времени, наука в России стала не только возрождаться, но пережила невиданный взлет в целом ряде важных отраслей. К тридцатым годам советские ученые были признанными авторитетами в биологии (особенно генетике), физике, математике, востоковедении, языкознании. Невиданный всплеск происходил и в психологии[2]. Приведу лишь некоторые данные. Только в 1929 году в стране вышло около 600 названий книг по психологии. Это было третье место в мире после англоязычной и немецкоязычной психологической литературы. На русский язык переводились также все скольнибудь значительные сочинения иностранных авторов по психологии, многие советские психологи были связаны с зарубежными коллегами деловыми и дружескими узами, участвовали в совместных исследованиях. Необыкновенно оживленной была и научная журнальная жизнь, издавались десятки периодических

[1] Очевидец жизни в послереволюционном Петербурге (Н. Полетика. Виденное и пережитое. Париж, 1982) рассказывает, что те, кто поутру, примерно в половине девятого садились в трамвай № 9, который следовал по Литейному проспекту до Военно-медицинской Академии, обычно встречали там скромно одетого старичка с седой бородой, который громко, не боясь, ругал советскую власть: религию уничтожили, Бога не признают, рабочим есть нечего, все продукты в складах для партийных, при царе жилось свободнее и т.д. и т.п. Пассажиры слушали внимательно, прикрывая лица газетами. Некоторые из них специально садились в этот утренний трамвай только для того, чтобы послушать едкие критические речи старика. Сходил он с трамвая у входа в Военно-медицинскую Академию. Этим стариком был не кто иной, как лауреат Нобелевской премии, знаменитый физиолог Иван Петрович Павлов. И хотя он ругал публично власти (на что тогда весьма мало кто отваживался), но не уезжал из страны, несмотря на блестящие предложения из Англии и Америки, где ему предоставляли все условия для научной работы.

[2] И опять же всплеск этот (что надо признать) произошел, не вопреки революции, а во многом благодаря ей, благодаря тому, что она высвободила энергию материализма, веры в преобразующую силу человека, в его возможности перевернуть мир. Крупнейший советский психолог А.Р. Лурия писал в конце жизни: «Все мое поколение было проникнуто энергией революционных изменений — освобожденной энергией, ощущаемой людьми, являющимися частью того общества, которое смогло в течение короткого отрезка времени совершить колоссальный скачок по пути прогресса» (Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. Научная автобиография. М, 1982. С. 5).

изданий[1]. Активно действовали различные психологические ассоциации и общества, существовали сильные школы тестологии, передовые психология труда и психотехническая школа (несколько Институтов труда, масса лабораторий), развитое психоаналитическое движение, блестящие работы по дефектологии, судебной психологии, зоопсихологии и др.

Теперь вопрос, через призму которого мы смотрим сейчас на психологию — вопрос о человеке, его присутствии, его понимании в психологических изысканиях ученых. Если отвечать обобщенно, то *это была все та же психология, где человек предстоял как некий объект, замкнутый сам в себе.* Изучение этого объекта стало куда более разносторонним, разветвленным, открывало все новые механизмы, законы и условия функционирования, но целое, единое назначение и тайна все более терялись, уходили из внимания. Великий психолог того времени Лев Семенович Выготский характеризовал положение современной ему психологии двумя словами (цитата одного из персонажей Чехова) — «Человека забыли».

И вновь отметим — это не было тогда одним лишь прямым следствием революции, засилья коммунизма, а совпадало с логикой развития всей психологической науки, пошедшей по пути естественнонаучных образцов и отвержения серьезных философских, тем более духовных, религиозных оснований человеческой целостности. Как писал в 1920 г. П.В. Блонский: «Мы должны создать психологию без души, мы должны создать ее без «явлений» или «способностей» души и без «сознания». Это высказывание может быть воспринято как одиозное, шокирующее, однако то же самое по сути, только менее воинственно по тону говорил еще в 1888 году основатель отечественной психологии Г.И. Челпанов. Эти слова, призывающие приняться за изучение психологии «без души», я уже приводил выше. Та же линия, по сути, развертвшалась и в западном мире. Подытоживая путь научной психологии, Британская энциклопедия писала в 1963 году: «Бедная, бедная психология, сперва она утратила душу, затем психику, затем сознание и теперь испытывает тревогу по поводу поведения». В описываемые нами годы (двадцатые — начало тридцатых) психология успела утратить душу, во многом психику как единое целостное образование и существенные аспекты человеческого сознания.

Нельзя, конечно сказать, что не было вовсе попыток повернуться к человеку в психологии. Тот же Выготский в последние годы жизни предлагал строить «вершинную» или акмеистическую психологию, говорил о том, что человеком движут не «глубины», а «вершины», ценности, идеалы, и планировал изучение под этим углом сознания, эмоций, личности, их нормального и отклоняющегося развития. Возможно, что он и его ученики смогли бы осуществить эту линию, эту, на мой взгляд, первую в советской психологии попытку привнести бытийные, собственно человеческие проблемы в психологию, если бы не пришел срок перелома всей советской психологии, срок нового акта материалистической трагедии страны.

[1] Вот лишь некоторые из них — «Психология», «Педология», «Психофизиология труда и психотехника», «Вопросы изучения и воспитания личности», «Педологический журнал», «Журнал по изучению раннего детского возраста», «Журнал психологии, неврологии и психиатрии», «Психиатрия, неврология и экспериментальная психология», «Вопросы дефектологии», «Психологическое обозрение» и др.

III. «РАЗГРОМ И УНИЧТОЖЕНИЕ»

Послереволюционный подъем науки проходил отнюдь не на безоблачном фоне. Уже с самого начала двадцатых годов в стране стали нарастать диспуты, дискуссии, обсуждения, посвященные тому — какой должна быть марксистская психология. Это не была просто научная полемика или борьба школ. Дискуссии приобретали все более выраженную *политическую* окраску с соответствующими штампами и ярлыками. В дело вступили «психологи с партийными билетами» — как правило, ничтожества в науке, но обладавшими ощущением своей большевистской непогрешимости.

Приведу фрагмент резолюции, принятой партийной конференцией Государственного института психологии, педологии и психотехники (сокращенно ГИППП)[1] в 1931 году: «Стоит задача **разгрома и уничтожения** остатков буржуазных теорий, являющихся прямым отражением сопротивления **контрреволюционных элементов** страны социалистическому строительству и служащих **протаскиванию чуждых идей** под видом **якобы** диалектико-материалистических». Я подчеркнул в резолюции слова — «разгром», «уничтожение», «контрреволюционные элементы», «протаскивание чуждых идей»... Все это из разряда ключевых слов эпохи, появление и употребление которых в то время было грозным симптомом. Вообще история этих и других окрашенных политикой дискуссий, во множестве разлившихся тогда по стране — лишнее и на этот раз печальное доказательство того, что вначале было слово, что со слов все начинается, словами формируется, а вслед за ними приходит действительное, не бумажное, не словесное дело разгрома и уничтожения.

[1] В прошлом того самого Психологического института имени Л.Г. Щукиной, основанного в 1912 году Г.И. Челпановым и появление которого приветствовали ведущие психологи мира. В 1923 году Г.И. Челпанова вынудили уйти с поста директора. Новым директором стал бывший ученик и сотрудник Челпанова, превратившийся к тому времени в борца против идеализма - К.Н. Корнилов. Рассказывают (устное сообщение М.Г. Ярошевского автору), что Челпанов уже в тридцатых (он умер в 1936 г.) приходил иногда к своему бывшему Институту, подолгу сидел на его ступеньках, обращаясь порой к входившим или выходившим из Института сотрудникам: «Вы меня помните, я — профессор Челпанов, *я* был здесь директором...» Большинство не помнили. Или — что вероятнее — предпочитали делать вид, что не помнят.

Наконец, грянула гроза. Случилось это летом, в начале июля 1936 года, когда в газете «Правда» было напечатано Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов».

Название документа, как обычно, само по себе мало о чем говорит. Тоталитарные режимы любят туманные названия и особый язык. Если перевести на язык более внятный, то Постановление следовало бы назвать так — *о разгроме и уничтожении* (вот они — ставшие реальностью слова партийной резолюции) *психологической науки и практики в Советском Союзе.*

Предлогом, непосредственным объектом критики в постановлении была педология, прежде всего — использование тестов в школьной практике. В тогдашней системе Наркомпроса (Народного комиссариата просвещения) применялись тестовые исследования, по результатам которых должна была строиться та или иная тактика обучения, а также отбор детей во вспомогательные школы. Все это объявлялось в постановлении «вредными лженаучными взглядами», «сомнительными экспериментами», желанием «найти максимум отрицательных влияний и патологических извращений самого школьника, его семьи, родных, предков, общественной среды и тем самым найти повод для удаления школьника из нормального школьного коллектива». Исходя из этого предписывалось вообще «упразднить преподавание педологии как особой науки в педагогических институтах и техникумах», «ликвидировать звено педологов в школах и изъять педологические учебники», «раскритиковать в печати все вышедшие до сих пор теоретические книги педологов» и т. п.

Постановление направлялось, однако, отнюдь не только на педологию (т. е., говоря современным языком, на педагогическую и детскую психологию). Это была не пуля, а бомба, разрыв которой поражал все психологическое поле страны. Были закрыты Институты труда, психотехнические лаборатории (там ведь тоже применялись тесты), разогнаны различные психологические общества (уже вне зависимости от того — были там тесты или нет), ликвидировались психологические журналы и периодические издания, рассыпались типографские наборы книг, приготовленных к печати, изымались из библиотек и уничтожались книги, имею-

щие отношение к педологии, тестологии, психологии и ко всему, что так или иначе могло о них напомнить[1], стали в изобилии появляться разгромные статьи и брошюры против психологов. Через короткое время (у дверей стоял страшный для страны 1937 год) начались выборочные аресты, высылки, расстрелы.

Позволю себе сделать небольшое личное отступление, имеющее, однако прямое отношение к обсуждаемой, сквозной для нас теме человека в советской психологии.

Суть сталинизма и коммунизма я начал пытаться постигать молодым человеком вместе со своим поколением в 60-ые годы. Нужной информации было крайне мало, приходилось собирать ее часто по крупицам. И то, что узнавал, приводило не только в ужас, но и в недоумение. Я поражался бессмысленностью злодеяний. Зачем все это надо было делать? Уничтожать военных накануне неизбежной войны, крестьян, которые кормили Россию? Сталин к тридцатым годам был диктатором и, тем не менее, он начал уничтожать своих верных соратников. Я долго не видел в этом никакой внутренней логики. Я не видел ту конкретную задачу, для которой надо было все это делать, которая могла бы придать смысл калейдоскопу злодеяний.

Лишь много позднее мне пришло в голову, что все обретает свой смысл и логику, если мы примем, что в *качестве такой задачи выступало разрушение* (или — знакомыми словами партийной резолюции — последовательный разгром и уничтожение) *человека как свободного, суверенного существа.* И тогда все выстраивается и становится на свои места. Кровавые компании обретают свою страшную логику и смысл. Сначала уничтожаются сословия, различающие одних людей от других — дворянство, купечество, крестьянство, затем религия как духовное прибежище человека, затем все самодеятельные организации, союзы, общества. Наконец, и это неизбежно, дело должно было дойти до науки.

Какая же наука, согласно этой логике, должна была быть уничтожена первой? Конечно же, *психология— как наука о различиях, субъективных особенностях, своеобразии, неповторимости человека*. Так оно и случилось. Постановление ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» было первым в ряду дальнейших разгромов других наук. И не случайно, что острие его было направлено против тестов *как объективных показателей* человеческих различий и особенностей. Психология в СССР в этом плане есть

[1] А.А. Леонтьев сообщает (Леонтьев А.А. «Л.С. Выготский». М., 1990. С. 59), что под горячую руку был даже рассыпан набор сборника «Педология», подготовленного кафедрой почвоведения (педология — одно из названий почвоведения).

пример, модель развития науки о человеке в тоталитарном коммунистическом государстве. Как писал один официальный историк советской психологии, «все существенные факты истории психологической науки в СССР следует рассматривать в свете борьбы Коммунистической партии». И, к сожалению, он совершенно прав. Вот почему, для того чтобы понять эти «существенные факты», необходимо выйти за их чисто внешнее описание и констатацию и проникнуть в суть «борьбы комунистической партии», которая есть не что иное, как определенное решение проблемы человека, а именно ее *окончательное решение,* когда она как проблема, вопрос, разночтение, вариант, тайна должна была просто перестать существовать[1].

Другое дело (и, как ни печально, мы вынуждены это констатировать) — психология не была совсем невинной жертвой коммунистических властей. Она отражала позитивистский дух эпохи, который способствовал возникновению последовательного материализма, каковым и является коммунизм. Психологи — сначала в ученых занятиях и стенах лабораторий — как бы отодвигали на второй план, а затем и вовсе отрицали у человека право на бессмертную душу и духовную жизнь, право на целостность и тайну бытия. Затем — и необыкновенно быстро — на смену теоретикам пришли практики и без особых затей и оглядок стали орудовать с людьми и народами, как с бездушными объектами. Но сам приход злодеев не был, конечно, случайным, он был подготовлен, предуготован предыдущим развитием, в котором свою роль сыграла и психология. Примитивному и жестокому Смердякову из «Братьев Карамазовых» (Ф.М. Достоевский) предшествует тонкий и умный Иван Карамазов. Иван Карамазов говорит слово, а Смердяков по тому слову действует, Иван Карамазов рассуждает, а Смердяков убивает. И главным аргументом против ученых речей Карамазова являются не логические ухищрения и эрудиция возможных просвещенных оппонентов, а действия Смердякова. Беспощадность в примитивах, в примитивных воплощениях наших идей. И реальные коммунисты были одним из таких воплощений.

Что же осталось после учиненного Постановлением ЦК ВКП (б) разгрома от советской психологии двадцатых—начала тридцатых годов?

Очень и очень немногое. Кто спасся тем, что заранее переехал в провинцию, подальше от столичного внимания (Харьковская группа

[1] Как говаривал Сталин в узком кругу приближенных: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы». После этой, часто невзначай брошенной сентенции человек, о котором шла речь, равно как и его «проблема», исчезали бесследно.

А.Н. Леонтьева), кто тем, что публично каялся в своих «ошибках» и «заблуждениях» (Л.В. Занков), кто тем, что срочно перешел в другую профессию. В целом же, если теоретические (разумеется, строго марксистски ориентированные) и отдельные экспериментальные работы и направления еще оставались (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), то прикладная психология (ее реальное участие, распространение и применение в жизни) перестала существовать. Она ушла под крепнущий лед советской власти, чтобы вновь, неожиданно для многих вынырнуть в годы Второй мировой войны.

IV. ВОИНА И ПОСЛЕВОЕННЫЕ МЫТАРСТВА

Вследствие грубейших ошибок Сталина, начало Великой Отечественной войны сопровождалось чудовищными потерями, огромные территории СССР были оккупированы фашистами, страна была поставлена на грань катастрофы. Изыскивались все силы и ресурсы. Вспомнили о психологах. И тут оказалось, что эти «буржуазные прихвостни» способны делать многое, чего не могут представители других специальностей. Например, работы психофизиолога С.В. Кравкова послужили основой для военной маскировки. Но главные успехи психологи показали в деле реабилитации, восстановления психического и соматического здоровья раненых бойцов. Психологи начали добиваться удивительных результатов благодаря применению разработанных ими методов. Были открыты специальные госпитали: Коуровский, где работали А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец и др., и Кисегачский (на Урале), где работали А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник и др. Появились важные разработки об уровнях установок, природе движений, нарушениях памяти, мышления, личности, мозговой локализации психических функций. Эти годы по праву считают временем рождения целой новой области, отрасли психологической науки — *нейропсихологии,* основателем которой явился крупнейший советский психолог — Александр Романович Лурия.

Казалось бы, парадокс: когда стало тяжело, плохо (а что могло быть хуже для нашего народа той страшной войны?), психологии стало легче, она испытала подъем. Однако за этим парадоксом лежит вполне определенная закономерность: как только ослабевало жесткое политическое давление на науку, «мудрое партийное руководство» над ней, наука поднимала голову и российские таланты давали знать о себе. Так было во время войны, так было и позднее. История советской психологии — достаточно хорошая тому иллюстрация.

Говоря о периоде войны, нельзя не упомянуть, что психологи проявили высокий патриотизм и работу их в этот период можно назвать героической. Родина была в опасности, перед ними был реальный и страшный враг и в этой ситуации их деятельность приобретала высокий смысл вклада в общее дело, в грядущую Победу.

• * *

Когда окончилась война (в которой, в частности, столь блистательно проявили себя психологи), коммунистическая партия тут же возобновила, продолжила свою главную линию, т.е. — в нашем понимании — *борьбу за уничтожение человека в человеке*. Аппарат идеологии с новой силой принялся за дело и науки о человеке (в их числе психология) подверглись новым, еще более жестким нападкам. Вскоре после войны прошлись, прокатились тяжелыми волнами, по крайней мере, три кампании, ударившие по психологической науке.

Во-первых, это была *кампания против генетики* (1948) как лженауки, буржуазной выдумки и диверсии. В самом деле — какая может быть генетика со своими внутренними законами, когда все должно управляться извне, соответствующими директивами партии и правительства. Теперь это может показаться анекдотом, но главный борец с генетикой — президент тогдашней Академии сельскохозяйственных наук — Трофим Лысенко говорил, что рожь можно переделать в овес, если на то будет соответствующая воля партии.

Тогда, однако, психологам было не до смеха, ведь они также изучали некие внутренние законы. По правилам материализма эти законы не должны быть сколь-нибудь автономны от внешних объективных условий и стимулов. Психика должна не своевольничать, но подчиняться тому «единственно правильному» представлению о человеке, которым владеет коммунистическая идеология.

Дело оставалось за малым — за научной конкретизацией «правильного представления» о человеке применительно к психологии. Это и выполнила следующая кампания, связанная с так называемой *Павловской сессией* (1950 г.)[1]. Эта сессия, ее решения должны были окончательно поставить психологию на твердый естественнонаучный фундамент и свести ее, по сути, к рефлекторной продукции высшей нервной деятельности (ВИД). Эпигоны Павлова откровенно заявляли о необходимости ликвидации психологии как самостоятельной науки и замене ее физиологией ВИД. Причем важно понять, что это была не научная дискуссия, где возможны самые разные точки зрения. Павловское учение получило официальный статус «правильного, последовательно материалистического», одобренного самой партией направления, — и потому другие точки зрения сразу становились «неправильными», «ошибочными», «вредными», а их носители — «заблуждающимися» или «врагами», против которых нужны самые решительные способы борьбы (вплоть до «разгрома и уничтожения»).

[1] Официально она называлась Объединенной научной сессией Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященной проблемам физиологического учения И.П. Павлова.

Один психолог старшего поколения рассказывал мне, что по следам сессии был подготовлен проект постановления, в котором психология должна была быть официально упразднена и заменена физиологией ВИД. Этот проект прошел все высокие инстанции и был направлен на подпись Сталину. Тот его прочел, после раздумья произнес: «Физиология есть физиология, а психология есть психология» — и не подписал. Не знаю, насколько эта история верна, но по духу она очень соответствует тому времени, когда вопросы науки (впрочем, как и все остальные) решались в Кремле.

Так или иначе, психология осталась жить, но все психологи теперь должны были постоянно и во всем ссылаться и опираться в своих работах на сочинения Павлова и его учеников. Чтобы почувствовать обстановку тех лет, приведем следующий рассказ В.В.Умрихина об одном малоизвестном, но знаменательном штрихе того времени: «В постановлении Павловской сессии было сказано, что учение Павлова создало научный фундамент для перестройки психологии на новой основе. И по решению сессии через два года было созвано Всесоюзное совещание по психологии. Директором института психологии тогда был Анатолий Александрович Смирнов, и перед ним встала задача спасения института, вообще отечественной психологии. И как он ее решил, Анатолий Александрович мне рассказал сам... Психологи не могли, конечно, открыто противостоять тем установкам, которые спустили им «сверху». С другой стороны, совещание грозило — а это было целью его вдохновителей — психологическому сообществу расколом на «истинных» и «буржуазных» со всеми вытекающими последствиями. И Смирнов решил направить совещание по руслу, где опасность была бы сведена к минимуму. И поэтому, — сказал Анатолий Александрович, — я сделал плохой доклад и вызвал огонь на себя. Доклад, действительно, был настолько, мягко говоря, странный, что участники совещания получили прекрасный повод уйти от навязываемой программы — вместо того, чтобы заниматься тем, что им предписывалось, они друж-

но набросились на доклад Смирнова. Анатолий Александрович нарочно сделал себя мишенью критики, причем столь явной мишенью, что сказанное им сейчас выглядит издевательством по отношению к идеологическим надсмотрщикам. Помимо общих положений о том, что надо перестраивать психологию на «павловской основе», в перечне задач в докладе была, например, сформулирована и такая. Поскольку мировоззрение советского человека и человека буржуазного качественно отличается друг от друга, значит и физиологические механизмы, лежащие в основе этого мировоззрения, так же качественно отличны. Значит, — следовал вывод, — одной из главных задач психологии становится изучение условно-рефлекторных связей, условных рефлексов советского человека в их принципиальном отличии от присущих человеку буржуазного общества. Понятно, все присутствующие набросились на доклад Смирнова, «забыв», что им было предписано — искать в трудах своих коллег «реакционное», «идеалистическое». А теперь представьте себе: вы читаете этот доклад, не зная того, что стоит за ним» (Человек, 1995, № 3, с. 11). Действительно, изучая труды предшественников, следует помнить, в каких условиях они писались, как вопреки «борьбе коммунистической партии» создавалась, отстаивалась, а иногда просто чудом выживала наша наука.

Наконец последняя напасть послевоенных лет называлась *борьбой с космополитизмом*. Стало поноситься все иностранное и превозноситься отечественное. Выпекавшаяся столетие французская булка была срочно переименована в городскую, конфеты (очень вкусные, кстати) «Американский орех» стали «Южным орехом», слово «лозунг» заменено словом «призыв», доказывалось, что первый поднявший в воздух самолет изобрели не братья Райт, а инженер Можайский, любые ссылки на иностранных авторов изымались или рассматривались как крамола, как — словосочетание тех лет — «низкопоклонство перед Западом»[1].

Как всегда в Советском Союзе, это не было неким частным случаем, следствием спонтанного подъема отдельных общественных сил. Это была направленная политическая борьба, в конечном итоге все та же *борьба коммунистической партии за уничтожение человека*.

На этот раз она была направлена против интеллигенции, ее права и обязанности — знать и использовать весь опыт мировой культуры. Имелась и своя особая специфика: если интеллигент был евреем, то он автоматически, одним фактом своей национальной принадлежности получал клеймо «безродного космополита» и как носитель этого клейма подлежал все тому же «разгрому и уничтожению». Помимо громких арестов и дел (ленинградское дело «врачей-отравителей», дело Еврейского антифашистского комитета, убийство актера Мехоэлса и др.), развернулась повседневная «чистка». Ученых с еврейскими фамилиями начали «прорабатывать» на специальных собраниях, после чего увольнять с работы.

Не минуло это и психологов. Так была уволена основатель отечественной патопсихологии Б. В. Зейгарник (в то время уже вдова — муж погиб в сталинских лагерях — с двумя детьми на попечении), снят с поста заведующего кафедрой психологии Московского университета С.Л. Рубинштейн, на середину марта 1953 года было назначено собрание о «космополитических ошибках» ведущего специалиста по детской психологии Д.Б. Эльконина (прошел в войну путь от рядового до полковника, его жена и двое малолетних детей были расстреляны фашистами). Последнее собрание, однако, не состоялось, ибо за неделю до него скончался сам Иосиф Сталин — главный вдохновитель и руководитель борьбы с космополитизмом, равно как и всех предыдущих советских кампаний, начиная с 1924 года.

[1] Согласно шутке того времени, теорию относительности изобрел русский физик Однокаменьщиков (буквальный перевод с немецкого фамилии Эйнштейна).

V. «ОТТЕПЕЛЬ»

После смерти Сталина и короткой, но острой междоусобной борьбы на верхах к власти пришел Никита Хрущев. Забрезжила короткая хрущевская весна, вернее, оттепель — до настоящей весны дело не дошло. Появились первые разоблачения сталинских злодеяний, из концлагерей возвращались тысячи невинных жертв разгромов и уничтожений: «шпионы», «диверсанты», «вредители», «отравители», «террористы», «космополиты», «клеветники» и т.п. Общество начало поднимать изрядно побитую голову. Психологи тоже.

В 1955 году начал выходить первый психологический журнал — «Вопросы психологии» (напомню, что в 20—30-х годах их было десятки). Вышел однотомник Л.С. Выготского, даже имя которого нельзя было упоминать в положительном свете в течение 20 лет. Было организовано Всесоюзное общество психологов. Стали появляться важные работы и сочинения по общей психологии, нейропсихологии, психологии восприятия, инженерной психологии. В 1966 году образовался факультет психологии при Московском университете, в том же году в Москве прошел XVIII Международный конгресс по психологии[1]. Этот конгресс стал смотром, итогом работы психологов за хрущевскую оттепель. И итог этот, на удивление многих западных ученых, оказался весьма достойным. П.Я. Гальперин на равных спорил с Ж. Пиаже, предлагая качественно иную концепцию развития интеллекта;

[1] Эти два события связаны весьма тесно. Во многом именно благодаря Международному конгрессу на базе отделения психологии философского факультета Московского университета был открыт факультет психологии. Дело в том, что А.Н. Леонтьев как заведующий отделением психологии в разговорах с начальством — и университетским и более высоким (ЦК, Министерство образования) постоянно говорил: «Как же так — соберется впервые в Москве Международный конгресс по психологии, съедутся ученые со всего мира и обнаружится, что у нас даже нет факультета психологии». Думаю, что эта аргументация была не последней в решении открыть факультет.

в нейропсихологии, возглавляемой А. Р. Лурия, Москва занимала просто передовые, лидирующие позиции; Б.В. Зейгарник создала собственную школу патопсихологии; Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов предлагали оригинальные, эффективные способы обучения; А.В. Запорожец по-новому исследовал проблемы дошкольного детства; А.Н. Леонтьев и его ученики разрабатывали фундаментальные проблемы восприятия и деятельности.

А как же обстояло дело с общей концепцией человека, которая должна стоять за конкретными исследованиями психики, прежде всего ее высших слоев — мотивации, эмоций, личности?

Если продолжить аналогию с ранней весной, оттепелью, то можно сказать, что сковывающий лед сталинской диктатуры стал постепенно отекать, оттаивать, образовались первые трещины, полыньи на ледяной поверхности, в которых можно было, пусть и в ограниченных пространствах, двигаться свободно. Это не была, конечно, полная свобода, айсберги идеологии оставались и казались незыблемыми в своей мощи, но после сковывающего льда и невозможности пошевелиться эта, даже ограниченная воля казалась великим достижением. *Началась вторая попытка привнесения проблемы человека в психологию.* Первая, сорванная, шла от Выготского и закончилась только провозглашением тезисов о важности «вершинной», «акмеистической» психологии. Разработать ее не удалось ввиду разгрома, учиненного после постановления 1936 года. Вторая попытка введения проблемы человека[1] началась не с самой психологии, а с философии.

Философия этого времени также осваивала свою полынью. Появился особый интерес к ранним произведениям Маркса, в которых он, еще младогегельянец, высказывал по отношению к ортодоксальному коммунизму весьма либеральные мысли. Человек в этих суждениях представал как ценность, как особая сущность, трансцендирующая любые заданные ему границы. Помню, как меня тогда удивили принадлежностью Марксу слова о том, что человек настолько более бесконечен, чем гражданин государства, насколько человеческая жизнь более бесконечна, чем политическая жизнь. Эта, столь теперь очевидная мысль так противоречила всей практике и идеологии тогдашней жизни, что воспринималась как откровение, надежда, как призыв к переходу к новым, действительно гуманным взглядам. Отсюда возникала уверенность (даже подъем,

[1] Разумеется, в строгом смысле проблема человека присутствовала всегда, однако, как уже говорилось, в сталинский период она была как бы окончательно, раз и навсегда решена и тем самым снята с повестки дня, на которой стояли отныне какие угодно вопросы — строительства, вооружения, очередных арестов, празднования юбилеев, но только не человеческого бытия.

энтузиазм) относительно того, что марксизм — подлинный, очищенный от сталинских искажений — способен найти достойное решение проблемы человека, привести к гуманным отношениям между людьми.

Появляется круг молодых, сильных философов, которые занялись запретной до того темой проблемы человека (М.К. Мамардашвили, Г. С. Батищев, В.С. Библер, Ф.Т. Михайлов, А.С. Арсеньев, О.Г. Дробницкий, Г.П. Щедровицкий и др.). Их работы и рассуждения стали серьезно влиять на новое поколение психологов, которые в то время входили в научную жизнь (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.В. Брушлинский, О.К. Тихомиров и др.)[1].

Но и среди психологов старшего поколения стал возрождаться интерес к общим проблемам человека. В Ленинграде Б.Г. Ананьев создал школу, поставившую задачей разработку интегративной, комплексной концепции изучения человека. Основные результаты были опубликованы позднее, в итоговых монографиях Б.Г. Ананьева (Человек как предмет познания. Л., 1968. О проблемах современного человекосознания. М., 1977).Совершенно особое, центральное, на наш взгляд, место в исследованиях того времени следует отвести последней, оставшейся незавершенной рукописи С.Л. Рубинштейна «Человек и мир», о которой надо сказать чуть подробнее.

С.Л. Рубинштейн (1889—1960) получил блестящее философское образование в Германии, защитил накануне Первой мировой войны диссертацию в Марбурге. Затем он всю жизнь занимался психологией, а под конец, как бы завершая круг, вновь вернулся к философскому уровню, но подошел к нему уже не как чистый философ, а как психолог, осознающий, что без учета этого уровня психология не может быть завершенной и цельной. Рукопись книги «Человек и мир» была опубликована в 1973 году спустя тринадцать лет после смерти автора и то с купюрами идеологической цензуры. Полностью, без купюр, она опубликована лишь в 1997 году. По справедливой оценке А.В. Брушлинского и К.А. Абульхановой эта была первая в советской философии и психологии попытка создания оригинальной целостной концепции человека.

Впервые за всю историю советской психологии в рукописи речь шла о нравственной ответственности, чувстве трагического, проблеме любви, смерти и других смысложизненных, экзистенциальных проблемах бытия. Разумеется, Рубинштейн оставался приверженцем диалектического материализма и марксизма[1], но он явно выходил на общечеловеческие и гуманистические позиции, которые в случае их развития могли бы повернуть психологию к человеку, его подлинным страданиям и жизни. Могли бы, если бы не новый виток советской эпохи.

[1] Этому немало способствовало то, что отделение психологии (на базе которого в 1966 году и образовался факультет) было при философском факультете МГУ. Студенты — философы и психологи часто слушали одни лекции, непосредственно общались, дружили друг с другом. Многие из них потом, став уже известными учеными, сохранили человеческие связи и контакты.

[1] Теперь эта всеобщая привязанность к марксизму может показаться странной — неужели нельзя было выбрать иные основания. Однако упрек этот не совсем справедлив. В то время, в тех условиях марксизм был единственно доступным и возможным способом выражения, алфавитом, языком, на котором лишь мог писать и в категориях которого мог рассуждать психолог или философ без риска «разгрома и уничтожения». А.В. Запорожцу удалось, например, ввести понятие спонтанности в представление о развитии детской психики только после того, как он нашел в одном из сочинений Ленина слова (в другом, разумеется, не психологическом контексте и связи) о «спонтанейности развития». Лишь со ссылкой на ленинские слова он провел и свое понимание спонтанности (устное свидетельство В.П. Зинченко).

VI. «ЗАСТОЙ»

Осенью 1964 года свершился дворцовый переворот. Никита Хрущев был снят с поста Первого секретаря ЦК и на это место водворился Леонид Брежнев. Начался период, который позднее стало принято называть *периодом застоя*. На самом деле никакого стояния не было. Было движение, новое наступление — наступление коммунизма по все той же основной для него линии — линии уничтожения человека как свободного существа.

Как обычно в истории, период этот начался не сразу, с даты смещения экспансивного Никиты Хрущева (октябрь 1964 года). За смещением последовал некий переходный период, после чего политика Брежнева стала выявляться все более четко — исчезли антисталинские статьи и разоблачения, начались судебные преследования инакомыслящих, еще более разросся аппарат КГБ, во все сферы жизни стал проникать строжайший идеологический контроль[1], нарастала мощь вооружения, все более суживались права и свободы людей, возрождался культ личности вождя — появлялись все новые ордена и звезды Героя на брежневской груди. Началась реставрация сталинизма. Правда, вернуть Сталина на его прежнее место уже было нельзя (слишком страшные и неопровержимые документы обнародовал Хрущев), поэтому это была скрытая ресталинизация, ресталинизация без Сталина[2].

[1] Помню с какой гордостью и внутренним упоением говорил мне один из руководителей солидного издательства: «Мы должны теперь следить не только за тем, что написано, но и за тем, что не написано автором, мы должны представить себе все возможные реакции читателя и сделать так, чтобы эти реакции шли только в нужную сторону и не провоцировали его на ложные мысли». Понятно, что ложным было все, что противоречит коммунистическому мировоззрению, и здесь у цензоров-редакторов проявлялось необыкновенно тонкое чутье. Так мой редактор, например, решительно вычеркнула из книги (по психологии юношеского алкоголизма) слово «грех» — «нельзя, напомнит о религии» и тут же рассказала «страшную историю» про то, какой нагоняй получил другой редактор, пропустивший подобные слова в печать.

[2] Впрочем были не безуспешные попытки вернуть и самого Сталина как живую фигуру и символ. Стали печататься воспоминания, в которых он фигурировал в весьма положительном свете, вышли кинофильмы, где он начал появляться в качестве персонажа с неизменной трубкой, медленной взвешенной речью с грузинским акцентом и мудрыми замечаниями. Как это ни печально, но это возвращение Сталина на экран нередко сопровождалось одобрением и даже (особенно вначале) вспышками аплодисментов в зале.

Манифестацией, утверждением режима стало вторжение советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. Брежневская модель социализма становилась эталоном не только для своей страны, но и для всего «социалистического содружества», и Советский Союз демонстрировал решимость утверждать эту модель всеми возможными способами, включая силу оружия.

Какое, однако, отношение имела вся эта политика к психологической науке, к постановке проблемы человека в ней?

Самое непосредственное. Вообще при коммунистическом режиме не существует сугубо внешних событий, которые не затрагивали бы, так или иначе, всех сторон внутренней жизни. Тоталитарная среда очень плотная, густая и каждое движение в ней передается, отдается всем соучастникам. Там нет необходимого свободного пространства, все ограничено и тесно, без зазоров притерто друг к другу, и потому перемена любой позиции задевает, отдается во всех остальных. В особенности, когда речь идет о главном. А главное в коммунизме это идеология, ее наступление и распространение.

Вторжение в Чехословакию означало запрет того «гуманного социализма», «социализма с человеческим лицом», который собирался строить Александр Дубчек и его единомышленники. Социализм должен был оставаться брежневским, т.е. казарменным, иерархическим, несвободным. Само слово «гуманизм» сразу же оказалось в опале, поскольку оно было начертано на знаменах пражских реформаторов. Автоматически (по закону плотной среды) это означало борьбу с этим словом, стоящим за ним понятием и теми, кто его употреблял, а тем более активно обсуждал, разрабатывал. Началась резкая критика гуманистических подходов. Она сводилась в основном к разделению двух видов гуманизма — буржуазного (абстрактного) и пролетарского (конкретного).

Предположим, вы идете вдоль реки, вдруг слышите крики о помощи и видите тонущего человека. Вы устремляетесь к воде и спасаете его. Какой это будет гуманизм? Оказывается — абстрактный, сомнительный, буржуазный. Но вот вы подходите к берегу и выясняете предварительно социальное происхождение и положение тонущего, его отношение к победе коммунизма и т.п. И если ответы окажутся убедительными, вы оказываете помощь. Это будет гуманизм конкретный, правильный, пролетарский.

Пример, разумеется, гротескный, карикатурный, но он вполне отражает суть тогдашней критики гуманизма, которая привела к тому, что слово это стало во многих работах обозначаться в кавычках

или с прибавлением слов «якобы», «так называемый гуманизм», т.е. как нечто сомнительное и обманное.

В результате проблема человека опять, как и при Сталине, стала приобретать статус окончательно и единственно верно решенной, не требующей новых исследований понимания. Неслучайно поэтому изучение личности в начале семидесятых уходит в тень, а основное финансирование, поддержку и понимание получает инженерная психология, исследования восприятия, систем «человек—пульт управления», «человек-машина», где человек выступал как часть, звено, которое надо приспособить к нуждам и логике механических аппаратов.

Это не означало, однако, что исследования в области психологии личности не проводились вовсе. В середине семидесятых событием стало появление фундаментальных работ А.Н. Леонтьева по проблемам исследования сознания и личности — сначала они появились в журнале «Вопросы философии», а затем вышли отдельной книгой под названием «Деятельность. Сознание. Личность» (М., Политиздат, 1975). Книга, несмотря на выраженно сугубо методолого-теоретический характер и весьма сложный язык изложения, имела впечатляющий успех, вскоре (1977 г.) переиздана, переведена в 14 странах, удостоена Ломоносовской премии. Успех книги явно обнаружил, продемонстрировал заинтересованность психологического сообщества в новом осмыслении психологии и ее места в общем понимании человека. Леонтьев констатировал, по сути, непрекращающийся, перманентный, длившийся к тому времени уже столетие кризис психологической науки, возникающий вследствие противоречия «между громадностью фактического материала, скрупулезно накопляемого психологией в превосходно оснащенных лабораториях, и жалким состоянием ее теоретического, методологического фундамента». (Деятельность. Сознание. Личность. С. 4).

Выход из этого положения Леонтьев видел, конечно же, в марксизме, в его последовательном и «правильном» применении к психологии: «Методологическому плюрализму советские психологи противопоставили единую марксистско-ленинскую методологию, позволяющую проникнуть в действительную природу психики, сознания человека» (Там же. С. 4). Другого заявления от лидера советской психологи в те годы было ожидать трудно, марксизм, как уже отмечалось, был и оставался для ученых тем алфавитом, языком, на котором они и могли лишь выражать свои воззрения. Но надо обязательно сказать, что при всех марксистских установках и даже штампах в сочинениях ведущих отечественных психологов можно всегда обнаружить некий зазор, отдушину, пролом, сквозь который проглядывает небо извечного российского идеализма и стремления к высокому. Так было и у Леонтьева. Главным, — писал он, — является вопрос о том, какое место занимает внутренняя жизнь «в многомерном пространстве, составляющем реальную, хотя и не всегда видимую индивидом, подлинную действительность» (Там же. С. 220).

Марксистски ориентированная психология, однако, не могла ответить на этот «главный вопрос», хотя бы потому, что для нее реальное не могло, не должно быть невидимым, но непременно зримым, регистрируемым, материальным, предметным, на котором, как на фундаменте, следовало основывать все остальное. Леонтьев в последние годы жизни (он умер в январе 1979 г.), видимо, все более задумывался об этом. Во всяком случае, в одной из самых последних бесед, где присутствовал и автор этих строк, Леонтьев говорил, что марксизм ошибается в своем утверждении, будто он исправил теорию Гегеля, перевернув ее «с головы на ноги». «На самом деле, — убежденно и даже с горячностью закончил Леонтьев, — Гегель стоял правильно». Это означало, по сути, позднее признание Леонтьевым значимости идеальных, метафизических оснований как главных, определяющих для человека, составляющих ту самую «реальную, хотя и не всегда видимую индивидом подлинную действительность».

Следует сказать и о развиваемом Леонтьевым представлении о смыслах. Еще в 1947 году он ввел понятие о «личностных смыслах» как единицах анализа внутренней жизни человека. И хотя Леонтьев в согласии с традициями марксизма ограничивался лишь предметным пониманием смыслов, не соотносил их с уровнями нравственной ориентации, тем не менее, введение этой единицы позволило сделать важный шаг в изучении субъективного мира.

Во второй половине семидесятых годов эта «смысловая линия» была подхвачена рядом молодых тогда сотрудников факультета психологии Московского университета. По инициативе А.Н. Леонтьева была создана Межкафедральная группа по изучению психологии личности (А.Г. Асмолов, Е.З. Васина, Л.В. Бороздина, В.С. Братусь, Е.Е. Насиновская, Л.А. Петровская, В.А. Петровский, А.А. Пузырей, В. Э. Реньге, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская, Е.В. Субботский, К.Г. Сурнов, А.У. Хараш, О.М. Хараш и др.). Руководителем группы был автор этих строк, заместителем — А. Г. Асмолов. В ходе работы группы (1976—1980) понятие смысла существенно видоизменилось, расширилось, потеряв, в частности, свою жесткую предметную привязанность, все острее и чаще ставились проблемы нравственной отнесенности, связи психологии и этики.

Еще одной важной линией конца 70 — начала 80-х годов стало обращение некоторых психологов к практике консультирования и психотерапии. Отнюдь не всегда это были удачные попытки — не хватало опыта, специальной литературы, крайне шаткими и неустойчивыми были исходные теоретические позиции. Однако само возникновение этой линии свидетельствовало о насущной потребности повернуть психологию к нуждам конкретного человека, помочь ему в преодолении жизненных трудностей.

* * *

Если же говорить о внешних превалирующих тенденциях в психологии тех лет, то они не были особо радостными. В очередной раз к худшему изменилось в 70-х годах общее положение в психологическом сообществе. Этому способствовало, по крайней мере, два обстоятельства. Первое выглядело поначалу как весьма оптимистическое. Это начавшийся в середине 60-х годов подъем интереса к психологии, открытии вслед за Московским университетом факультетов и отделений психологии в других высших учебных заведениях страны, основание Института психологии в системе Академии наук (1971), появление все новых лабораторий.

Оптимизм, однако, вскоре стал омрачаться тем, что квалифицированных кадров для этого обилия возможностей было крайне мало[1]. И вот в психологию буквально хлынул поток непрофессионалов. Педагоги, историки, филологи, биологи, математики (причем, порой, просто неудачники в своих областях) стали заполнять вакантные места психологов, наскоро пройдя где-нибудь стажировку или прослушав какие-то курсы. Были случаи, когда в провинциальных университетах стали открываться отделения по подготовке психологов, в которых среди преподавателей и сотрудников не было ни одного (!) профессионального психолога. Понятно, что общий уровень психологического сообщества стал стремительно падать.

Однако, если это обстоятельство можно было рассматривать как болезнь роста, которую со временем можно поправить, то следующее обстоятельство было более серьезным и удручающим, поскольку касалось самих корней происходящих в обществе изменений. Правление Брежнева было ресталинизацией и, следовательно, новым возрождением и укреплением административно-иерархической системы, при которой все должно было подчиняться идеологическому аппарату. Все нити сходились в ЦК КПСС, где соответствующие отделы полностью и во всех деталях управляли всеми областями жизни общества.

Как всякая реставрация, брежневская ресталинизация имела признаки некоего гротеска, пародии и — одновременно — разложения, упадка. Сталину поклонялись и боялись его, над вождизмом Брежнева подсмеивались и сочиняли многочисленные анекдоты о его тугодумии и косноязычии. Сталинский чиновник был ревнителем системы, которая зорко следила за его верностью ей. Брежневский чиновник часто лишь на словах заботился о системе, на деле же все большее внимание уделял своим личным делам, тем богатым возможностям, которые дает его место для обогащения, приобретения дефицитных товаров и услуг, поездок за границу, получения квартиры, устройства своей семьи, родственников и т.п. В общество проникал цинизм, узкогрупповые предпочтения, коррупция, которые стали пронизывать все уровни от мелкого райкомовского функционера до самого Генерального секретаря. Эти процессы не могли не миновать науку, в частности психологию, судьба которой все более тесно стала зависеть от вкусов, расположения, личных интересов соответствующих чиновников в ЦК КПСС, например, секретаря ЦК М.В. Зимянина и, — прежде всего — его помощника В.П. Кузьмина, который непосредственно заведовал делами психологии. Начались конъюнктурные игры, кадровые перестановки, увольнения, смещения, которые начали приводить в результате к развалу научных школ и признанных психологических центров. Добро бы вместо одних научных школ были привнесены, утверждены другие. Однако новые руководители психологии были, по сути, разрушителями, а не созидателями. Они четко и хорошо видели свои групповые интересы, прекрасно ориентировались в расстановке сил, но были как бы слепы на науку, ее реальный образ был для них просто не видим и потому они корежили и попирали его на каждом шагу, часто даже не сознавая пагубности своих действий.

Может быть пояснению последней мысли послужит следующий образ. Однажды на какой-то местной авиалинии в Америке после обычных бодрых слов приветствия и обещания быстрого и комфортного полета командир корабля забыл отключить микрофон, и все пассажиры услышали, как он с тревогой сказал, обращаясь ко второму пилоту: «Будет просто чудо, если эта старая галоша сегодня взлетит». Взлет научного или учебного образования всегда чудо, но чудо ожидаемое, дающееся не только мастерством водителей, но самим видением, предощущением, образом полета. Чиновники (от министерств или от науки — все равно) полет не видят, не чувствуют его напряжения и тех необыкновенных усилий, подвига, которыми он дается. И потому, расхаживая по учено-учебному учреждению, как по некоторой тверди, они без колебаний могут начинать отпиливать ненужные как излишества, на их взгляд, крылья или хвостовое оперение, и когда учебно-научная машина вследствие этого устремляется вниз, в пике, чтобы разбиться, уничтожиться, исчезнуть как единица, они часто не испытывают даже угрызений совести, ибо уничтожают то, смысл и сущность чего не видели, не чувствовали, не понимали...

[1] Отделение (с 1966 г. факультет) психологии МГУ как центральное место квалифицированной подготовки психологических кадров выпускало в год (включая дневное и вечернее отделение) примерно 40—50 студентов. Еще меньше выпускали отделения (позже факультеты) в университетах Ленинграда и Тбилиси. Других мест подготовки до начала 70-х годов не было.

Прибывший в ЦК из Ленинграда В.П. Кузьмин стал активно продвигать «своих людей». Так появились новые руководители основных психологических центров Москвы — Института психологии АН СССР, факультета психологии МГУ, Института общей и педагогической психологии АПН СССР. Последний держался дольше всех. С конца семидесятых Институт стал явным центром притяжения, культуротворческой силой. Директор и душа института В.В. Давыдов возглавил изучение психологии обучения, открыл ряд новых подразделений, в том числе отдел философских исследований, куда пригласил замечательных философов психологии — Ф.Т. Михайлова, Г.П. Щедровицкого, В.С. Библера, А.С. Арсеньева и др. В Институте проходили, ставшие знаменитыми, методологические семинары, циклы лекций М.К. Мамардашвили, Л.Н. Гумилева и других выдающихся ученых. В начале восьмидесятых Давыдову сфабриковали какие-то партийные грехи и после унизительных мытарств уволили из Института (1983). Вслед за ним «сократили» целый ряд сотрудников, в том числе отдел философии психологии в полном составе.

Вообще, оглядываясь на это время, приходится констатировать весьма серьёзный ущерб. Психология посерела, стала все более чиновной, внечеловеческой. Живые люди в ней задыхались и начали уходить — кто в эмиграцию, кто в другие области, кто в обычную русскую болезнь — пьянство. Порой казалось, что ничего уже не способно вывести из мрака. Но пришла «очередная» весна. Весна 1985 года — время, когда идущий на закат XX век предоставил России возможность избавления от тоталитаризма, от бесконечной череды «разгромов и уничтожений». Не забудем, что возможность эта была куплена очень дорогой ценой. И то, что наш народ вынес невыносимое, выстоял, сохранив душу и талант, — заставляет благоговеть перец ним. Но опять же — чего это стоило и осудит ли кто поэта, у которого вырвались строки: «Я устал от двадцатого века // От его окровавленных рек // И не надо мне прав человека // Я давно уже не человек».

Поле битвы, согласно пословице, достается мародерам, и высоту, за взятие которой вчера было положено столько жертв, сегодня задаром присваивает, приватизирует купец-скорохват, приглядевшись к которому мы с удивлением узнаем в нем недавнего партийного функционера или разбитного комсомольского вожака, что в одночасье стал, вернее, назвал себя демократом и поборником свободного рынка. Однако эта метаморфоза и её последствия требуют особого разговора, выходящего за рамки книги, поэтому вернемся к психологии и ее ответу на новую ситуацию в стране.

VII. ПСИХОЛОГИЯ В ГОРБАЧЕВСКИЙ ПЕРИОД

Началась эра Горбачева. Когда-то Солженицын, вспоминая реакцию на появление в печати в начале шестидесятых своей первой повести о сталинских лагерях «Один день Ивана Денисовича», писал, что если даже этот маленький ручеек правды имел такой огромный резонанс в стране, то, что же будет, когда откроются все шлюзы и хлынут потоки правды. И вот они хлынули. Не только о Сталине, о лагерях. Вообще о нашей жизни, об истинном положении вещей. Хлынули повести, романы, которые были сокрыты от читателей, хлынули живые люди с Запада — писатели, политики, проповедники, имена которых десятилетиями шельмовали у нас, хлынули ученые, их идеи, книги, которые были знакомы лишь единицам. Под этим напором что-то рушилось, оплывало, а что-то выстроенное и утвержденное годами выстаивало и оставалось прежним.

Психология, чуть оттаявшая при Хрущеве, а затем вновь застуженная и промерзшая в брежневские годы, в официальных своих структурах стояла крепко, делая вид, что происходящие изменения не касаются ее. Зато «психологические массы» стали приходить в движение. Этому способствовало то обстоятельство, что омертвелость официальной психологии и до Горбачева, в конце семидесятых — начале восьмидесятых, стала приводить к появлению своеобразных альтернативных течений. Мы уже упоминали о психологической консультативной работе, поисках в области психологии личности, пробах соединения психологии с философией, отметим также деятельность ряда теоретических кружков и семинаров (Г.П. Щедровицкий, А.А. Пузырей и др.). Для всех этих сил времена Горбачева скорее не привносили нового в их изыскания, а давали возможность более свободно заниматься тем, чем они занимались ранее.

Отдельно надо сказать о западных ученых, которые стали приезжать сразу после открытия «железного занавеса». Это были звезды первой величины. В 1986 году в Москву приехал Виктор Франкл и прочел несколько лекций. В следующем году приехал Карл Роджерс. Он уже не только читал лекции, но провел психологические групповые

занятия в Москве и затем в Тбилиси. Вскоре приехала Вирджиния Сатир, которая также читала лекции и проводила практические занятия.

Казалось бы, что могли сделать эти короткие посещения. Однако влияние их было необыкновенно значимо. Разумеется, все психологи читали если не самих Роджерса и Франкла, то, по крайней мере, нечто о них и их воззрениях. Но все это оставалось достаточно трудно представимым, отчужденным, тем более, что постоянно подвергалось огульной критике. (Вспомним, что Франкл и Роджерс примыкали к психологии гуманистической, а последнее понятие с конца шестидесятых годов употреблялось, по преимуществу, не иначе как в кавычках или с эпитетами «якобы», «так называемая».) Здесь же приехали живые представители, олицетворители, причем лучшие, этой самой ругаемой либо, по меньшей мере, подозрительной гуманистической психологии. На них можно было посмотреть, побеседовать и поспорить с ними, можно было увидеть гуманистическую психологию не как букву и абстракцию, но как живую, воплощенную вещь.

Надо заметить, что психология есть *предмет незаочного постижения*. Предмет этот по книгам не выучивается. В него должны вводить конкретные живые люди, учителя. Точно так же, например, как и психиатрия — можно прочесть все учебники, выучить все признаки и симптомы психических расстройств, но психиатром станешь лишь тогда, когда эти знания соединятся с конкретным опытом, приобретенным не иначе как в общении с конкретным психиатром, учителем, вводящим тебя в предмет, вводящим уже не через знание, а через самого себя как профессионала, как человека[1].

Франкл, Роджерс, Сатир своими неповторимыми индивидуальностями замыкали, соединяли разрозненные доселе половины — знания о гуманистической психологии и конкретное, олицетворенное бытие, личность гуманистического психолога. Поэтому их приезд был не просто знакомством, но открытием, событием психологической жизни.

Есть и еще почти мистический штрих, оттеняющий значимость тогдашних приездов звезд западной психологии. Вскоре после поездки в Советский Союз скоропостижно скончался Карл Роджерс. Умерла после поездки и Вирджиния Сатир. Могло создаться такое впечатление, что поездка была как бы последним делом их жизни, выполнив которое, они могли освободиться, уйти из нее.

[1] Недаром, даже в самых кратких биографических данных о психиатрах, как правило, стоят имена их учителей (Ганнушкин — ученик Корсакова, Кербиков — ученик Ганнушкина и т.д.). Тем самым подчеркивается не просто преемственность, но отдается дань тому, из чьих рук, через чью личнось и индивидуальность была получена эта особая профессия.

Так или иначе, эти приезды были куда большим, чем научными визитами. Они прорвали для многих ту завесу лжи и недоумения, которая образовалась за эти годы вокруг западной психологии и, прежде всего, ее гуманистических аспектов. Кроме того, это дало мощный толчок к развитию в стране различных (не только в русле гуманистической психологии) видов практической психологической помощи. Вслед за Франклом и Роджерсом стали приезжать видные специалисты в области гештальт-терапии, семейного консультирования, поведенческой терапии и др. Начались прямые контакты. Те, кто раньше полуподпольно занимались психотерапией, да и те, кто ей никогда не занимался, получили возможность поехать на Запад, главным образом в Америку и там, из первых рук обучаться различным практическим методам.

В газетах и журналах начали появляться все более резкие статьи против сложившегося в семидесятые годы и продолжавшего оставаться, по сути, прежним положения в официальной психологической науке и образовании.

Эти выступления внешне ничего не меняли, все административные посты оставались у прежних лиц, но менялась общая атмосфера: то, что раньше говорилось только в кулуарах, стало говориться все более открыто.

Наконец, начались и некоторые реальные изменения. В противовес прогнившему за годы «застоя» Обществу психологов СССР стали появляться новые ассоциации и объединения психологов: Ассоциация практических психологов, Ассоциация гуманистической психологии, Психоаналитическая ассоциация и др. Была фактически снята прежняя цензура на психологическую литературу, стали появляться переводные книги как классические, так и современные.

Что же образовалось в результате всего этого брожения за время, прошедшее с апреля 1985 года? Можно ли уже говорить об определенных тенденциях в российской (теперь уже не советской, ас 1991 года — после распада СССР — российской) психологии? И — главный для нас вопрос — как эти наметившиеся или намечающиеся тенденции соотносятся с проблемой человека, на какие мировоззренческие парадигмы они опираются?

VIII. НА ПЕРЕПУТЬЕ

В постперестроечные годы появилось достаточно много интересных и ярких работ отечественных психологов разных поколений. За каждой из них можно обнаружить опору на те или иные представления, образы, модели человека. И хотя они чаще имплицитны, просвечивают неявно, как бы вторым, отдаленным планом, но именно они, на наш взгляд, определяют смысл, сущность и перспективу того или иного подхода. Поэтому, чтобы разобраться в том или ином нововведении, очередной «новой психологии», будь то «акмеистическая» или «экологическая», надо, прежде всего, разобраться, понять из какого образа человека исходит это веяние. Не имея возможности затронуть в этом плане все многоцветье мнений, сосредоточимся лишь на следующих мировоззренческих линиях.

Первая — это *марксистская ориентация.* Она перестала быть обязательной, насаждаемой, единственной, однако долгие годы ее доминирования сформировали исследовательское мышление, от которого невозможно отказаться в одночасье. Да это и не требуется вовсе — каждый волен выбирать ныне основания своих взглядов; важно, чтобы речь не шла, как прежде, о насильственном их внедрении.

Следующая ориентация — на современные западные концепции, их ассимиляция и адаптация. Условно назовем эту ориентацию *западнической.*

Третье направление, которое мы затронем, связано со становлением *гуманитарного* подхода, с переориентацией на общегуманитарные модели и критерии в противовес прежним естественнонаучным.

Четвертую линию можно назвать *нравстенно ориентированной,* связанной с соотнесением, сопряжением психологии и этики.

Наконец, последнее, пятое направление, на котором мы остановимся, обозначим как *христиански ориентированное,* поскольку христианские представления о человеке рассматриваются в нем как опорные, исходные для психологической работы.

Направления эти представлены на сегодня в отечественной психологии весьма неравномерно. Первое (марксистское), лишившись государственной поддержки, идет явно на убыль. Второе (западническое), напротив, испытывает несомненный подъем, буквально заполняя, затопляя психологическую печать, а — главное — умы

и души нового поколения профессионалов. На фоне этой экспансии весьма скромными выглядят успехи и распространение трех последних подходов — гуманитарного, нравственно ориентированного и христианского. Заметим сразу — принципы гуманитарной психологии и христианской психологии находятся лишь в стадии начального оформления. Что касается нравственной психологии, то сама возможность ее постулирования стала обсуждаться совсем недавно[1]. Однако и ее мы решились включить в общее рассмотрение, как одну из потенциально значимых линий, которая в связке с гуманитарной и христианской ориентациями может образовать основу будущей российской психологии.

1. Марксистская ориентация

О марксистской психологии, ее истории, сути отношения к человеку говорилось уже подробно и думается, что предыдущие рассуждения достаточно уже раскрыли нашу позицию, но чтобы внести окончательную ясность, воспользуемся одной из мыслей Л.Н. Толстого. При обсуждении картины Николая Рериха «Гонец» Л.Н. Толстой не столько, видимо, о самой картине, сколько в жизненное напутствие еще молодому тогда художнику сказал: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований: надо рулить всегда выше — жизнь все снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет». Сказанное рождает образ реки бытия, реки жизни с ее сильно сносящим к низшему течением. Парадокс состоит в том, что если субъект прямо и добросовестно устремляется к намеченной цели, то он ее достичь не сможет, но окажется ниже, подчас много ниже того, к чему стремился, а чтобы достичь намеченного, он, на самом деле, должен «рулить всегда выше», ставить себе иные, куда более высокие, превосходящие цели.

Эта модель может быть распространена как на отдельные судьбы, так и на целые исторические эпохи, в том числе и роковую для нас эпоху материализма, последовательным воплощением которого является марксизм.

Действительно, победившая у нас линия материализма имела некоторое начало реализации, некоторую первоначальную точку

[1] Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии. — Вопросы психологии. 1997.№ 5.Братусь Б.С. Психология и этика: возможна ли нравственная психология. - Человек, 1998, № 1, а также дискуссия по поводу этой публикации с участием А.В. Брушлинского, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, М.Г. Ярошевского и др. — Человек, 1998, №№ 2, 3, 4. Психология и этика: построения дискуссии. Самара, 1999.

опоры, исток, слово, идею, которая стала знаменем, символом, первым толчком на пути, приведшем спустя время к нынешнему краху. Этим идейным началом можно считать сформулированную Фейербахом и развитую Марксом и Энгельсом мысль о том, что не следует заниматься более отвлеченными, завышенными представлениями о человеке, его смысле, религии, духовном назначении, нравствнных ценностях, словом всем тем, что можно назвать **метафизическим измерением человека,** а надо думать только о человеке **реальном,** как он есть. Подчеркивая приоритет Фейербаха в формулировании этой идеи, Маркс и Энгельс пишут в своем первом совместном произведении «Святое семейство, или Критика критической критики» (1844 г.): «Кто поставил на место старой рухляди, в том числе и на место «бесконечного самосознания», не «значение человека» (как будто человек имеет еще какое-то другое значение, чем то, что он человек!), а самого «человека»? Фейербах и только Фейербах». Можно считать, что отсюда, с этой условной точки и началась философская, идейная, а затем и вдохновленная ею политическая борьба за тот, словами К. Маркса, «строй общественного жизненного процесса», который «сбросит с себя мистическое туманное покрывало, ...станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем».

Функцию этого контроля и взяла, присвоила себе в дальнейшем коммунистическая партия, последовательно уничтожая суверенные права человека, его свободу — все то, что мешало контролю, не давало делать его повсеместным, тотальным, всепроникающим. Отсюда, в частности, задача формирования, сказать точнее — формования людей под нужный шаблон, людей, для которых не они сами, их душа и воззрения, а партия будет, как предписывал Ленин, «умом, честью и совестью эпохи». Понятно, что эта задача требовала отнюдь не добровольного, а принудительного исполнения. Литература, по мысли Ленина, должна была стать «колесиком и винтиком» партийной жизни, писатели — по определению Сталина — «инженерами человеческих душ», ну а педагоги и психологи отвечать на сформулированный еще Бухариным социальный заказ производить людей так же, как производят деталь или машину. Неслучайно поэтому идеей формирования (формования) буквально пронизана психология советского времени.

Так что последствия марксизма, равно как его применения в психологии, конечно же, отнюдь не случайны, хотя в самом истоке, на уровне первых формулировок многим казалось, что ни о какой трагедии или даже опасности речи не идет, напротив, именно в марксизме кроется начало подлинной заботы о человеке и реального гуманизма, планомерно осуществляемого на

благо людей[1]. Надо сказать со всей определенностью — ни Фейербах, ни Маркс с Энгельсом и помыслить не могли о концлагерях, депортациях целых народов, массовых расстрелах и т.п. Однако в основе всех этих ужасов исторически лежит то смещение мысли, смещение направления общественного движения, у начала которого они стояли, за которое так активно, напористо и талантливо ратовали.

Дело, таким образом, не в самой по себе цели (кто же против «реального счастья реального человека»), а в том, во-первых, что под реальным понимается человек, по сути, ущербный, лишенный метафизического измерения и — соответственно счастье его мыслится усеченным, сугубо внешним, материальным, и, во-вторых, в том, что принимается жесткий, безапелляционный, «единственно верный» курс на построение подобного счастья без учета того, сколь сильно сносит к низшему река жизни. Маркс, например, когда-то решительно утверждал, что «упразднение религии как **иллюзорного** счастья народа есть требование его **действительного** счастья». Опыт нашей страны показал обратное: упразднение духовных устремлений, христианских идеалов привело к **иллюзорному** счастью — и земля не родит, и нравственность гибнет, и наука из необходимого подспорья становится опасной и античеловечной. То, что предлагал Маркс, на деле есть не действительный, **а иллюзорный реализм.** Ориентация на недостижимую высоту идеалов христианской культуры есть **реальный идеализм,** прямо отвечающий не только духу, но и механике живого жизненного движения. И вовсе неслучайно поэтому мы, принеся столько жертв, затратив столько усилий, получили в итоге не «человека реального», сознательно, планомерно (в том числе с помощью марксистской психологии) формируемого, а «человека советского»[2].

[1] Интересно, что в России попервоначалу социалистические идеи отнюдь не всегда противопоставлялись христианству. По замечанию Ф.М. Достоевского (1848 г.) «зарождающийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации». Вспомним и И.М. Сеченова, который искренно полагал, что развитие естественнонаучного мировоззрения приведет к появлению людей, «которые в своих действиях руководятся только высшими нравственными мотивами», среди которых он перечислял типичные христианские ценности — любовь к человеку, верность убеждениям, снисхождение к ближнему и др.

[2] Надо ли говорить, что речь идет об общих социально-психологических закономерностях, а не о частном выверте или неудаче, имевшей место лишь на территории бывшего Советского Союза. «Советский человек» — явление интернациональное, всемирное, его родовые черты без труда узнавались на Кубе и в Анголе, во Вьетнаме и Польше, в Румынии и Германии (ГДР). Именно изначальная разность религий, рас, народов показывает, насколько объективны, серьезны, принудительны законы формирования Homo soveticus, насколько эти законы перекрывают, перемалывают исходные межкультуральные несовпадения людей, имевших соблазн или несчастье вступить на этот путь.

Из сказанного можно, в частности, сделать вывод о том, что поставленная обществом (человеком) в качестве конечной сознательная цель общественного (личного) бытия, по сути, обычно невыполнима в первоначальной, задумываемой форме и видимые нами социально-политические (социально-психологические) воплощения есть на деле следствия определенного рода смещений, направление которых очевидно — от высшего к низшему. Цель тем самым не должна быть равной сама себе, но для достижения реального и возможного надо стремиться к идеальному и невозможному.

Если говорить об истории нашей отечественной науки, то названные в книге (равно как и очень многие, оставшиеся за ее пределами, неназванные в ней) особенности марксистского представления о человеке могли быть менее ощущаемыми в области изучения частных психических процессов, но там, где дело касалось высших проявлений, интегративных выводов, проблем сознания и личности, их влияние сразу становилось жестким и императивным. На этом фоне еще более яркими и славными должны казаться достижения психологии советского периода. Они несомненны, но приглядевшись к ним, нетрудно убедиться, что в большинстве своем они возникли не благодаря, а вопреки «борьбе коммунистической партии». Впрочем, думаю, предыдущие главы уже убедили в этом читателя. Можно только склонить голову перед классиками отечественной психологии, которые в этой ситуации, в этих условиях оставили наследие, которым мы можем по праву гордиться и на которое можем опереться в наших сегодняшних поисках.

2. *Западнический путь*

Перейдем теперь к другой линии развития психологии, условно названной нами *западнической,* которая, как уже было отмечено, переживает сейчас наибольший подъем.

Если взглянуть на происшедшее в XX веке с нашей страной глазами отстраненного ученого, то вполне можно воспринять это как некий эксперимент, в котором человек, общество, его институты подверглись длительному воздействию материализма последовательно марксистского толка. Эксперимент отвечал требованиям науки, в нем можно четко выделить варьирование переменных, условий, режимов функционирования испытываемых объектов. Было в нем выполнено требование исключения, вернее, сведения до предельно возможного минимума внешних помех, чуждых влияний. Так, для заслона от внешнего мира и создания особой, изолированной внутрилабораторной обстановки кремлевскими экспериментаторами был воздвигнут «железный занавес», который, среди прочего, перерезал взаимосвязанную мировую науку и, в частности, взаимосвязанную мировую психологию на два качественно иных раздела — западный и советский, капиталистический и социалистический.

Ныне завеса рухнула и мы, естественно, потянулись к общению, которого были лишены десятилетиями, к ассимиляции накопленного за это время Западом опыта. Но прежде чем проигрывать и повторять чужие ходы, необходимо проанализировать их суть, увидеть не только внешние моменты и успехи, но те глубинные уроки и предостережения, которые вытекают из отнюдь не простого и тоже во многом драматического западного пути или — если продолжить аналогию — западного эксперимента развития психологии в различных условиях и режимах функционирования капиталистического мира в XX веке.

Принято выделять три основные школы или — используя термин Абрахама Маслоу — *силы* в западной психологии XX века: бихевиоризм, психоанализ, гуманистическую ориентацию. Кратко взглянем на них под углом интересующей нас проблемы человека.

Первая сила — *бихевиоризм* — имеет достаточно глубокие российские корни. Уже упоминалось в первой главе о журнале В.М. Бехтерева «Объективная психология» (1907—1912), кторый оказал влияние на формирование бихевиоризма; теория психологии Бехтерева, названная им рефлексологией также, по сути, есть бихевиоризм. Что же касается И.П. Павлова и его исследований, то он рассматривается всеми как признанный предтеча бихевиоризма. В России XX века это направление психологической мысли не получило раскрытия по той же причине, по которой не раскрылись и другие направления — в тридцатые годы свободное развитие психологии было остановлено.

Философским основанием бихевиоризма (или иначе — поведенческой психологии) служил позитивизм, эмпиризм, доведенный до своего логического конца: рассмотрения человека как объекта — такого же, как любой другой объект научного исследования. Приоритет поэтому отдавался только видимым и регистрируемым фактам поведения и попервоначалу все сводилось к формуле «стимул—реакция». Мы можем наблюдать, регистрировать стимул и затем реакцию на него; все же остальное, все, что происходит в сознании, личности, мотивационной сфере мы наблюдать не можем, это «черный ящик», который объективная наука не должна принимать во внимание.

Правда, таков был лишь первоначальный манифест. В дальнейшем, как обычно, резкость первых заявлений была значительно смягчена, и «сознание» стало возвращаться в поведенческую психологию,

но в крайне усеченном и сугубо механистическом виде под названием «промежуточных переменных», т.е. некоторых образований, которые встают на пути между стимулом и реакцией и которые необходимо все же учитывать, чтобы верно прогнозировать реакцию.

Так или иначе, бихевиоризм был и остается последовательным воплощением позитивистских тенденций, установившихся к началу XX века, наиболее прямым следствием упований физиологической психологии. Понятно также, что бихевиоризм есть последовательный материализм, отрицание сакральности и тайны человеческой личности. Человек, — писал Уотсон, — «представляет собой животное, отличающееся словесным поведением»[1]. И хотя более позднему последователю бихевиоризма такое определение могло бы показаться излишне резким, общий принцип подхода остался, в основном, неизменным. Образованный мир был, например, шокирован вышедшей в семидесятых годах книгой Б. Скиннера «По ту сторону свободы и достоинства», где принципы бихевиоризма были так применены к анализу общества и человека, что понятия свободы, достоинства, ответственности, морали предстали лишь как производные от системы стимулов, «подкрепительных программ» и были оценены, в сущности, как «бесполезная тень в человеческой жизни».

Второй силой — по Маслоу — был *психоанализ*. Направление также не чуждое итории российской психологии и успешно развивавшееся у нас до 30-х годов. Общий подход был здесь как бы противоположным бихевиористскому. Если последний игнорировал сознание, считал его недоступным научному исследованию, то психоанализ, напротив, принялся за изучение сознания. Если бихевиоризм не отваживался строить какие-либо гипотезы о внутреннем мире личности, то психоанализ стал широко выдвигать такие гипотезы. Если бихевиоризм оперировал лишь объективно регистрируемыми фактами, то психоанализ стал активно вводить новые понятия, термины, умозрительные модели, очень часто не имеющие сколь-нибудь четкой предметной отнесенности и возможности объективной оценки. Начала строиться новая психологическая мифология. И Фрейд, как необыкновенно честный и острый исследователь, сознавал это. В письме к Эйнштейну он писал: «Вам может показаться, будто наша теория — это своего рода мифология и в настоящем случае даже неприятная мифология, но разве каждая наука, в конце концов, не приходит к подобной мифологии? Разве то же самое нельзя сказать о Вашей собственной науке?»

По сути дела, это не только признание мифологичности собственных психологических построений, но и рассмотрение вообще любой науки, даже сугубо естественной, той же физики Эйнштейна как мифологии. Если учесть, что вера при этом отрицалась, вернее, тоже являлась мифом, «коллективным неврозом», парафразом Эдипова комплекса, то все становилось шатким, безопорным, лишенным истинности. Фрейд как бы воспроизводил вопрос многоопытного и уставшего душой Пилата: «Что есть истина?», — подразумевая этим вопросом, а главное тоном, каким он задавался, что ее нет, все относительно, все есть лишь разные формы вымысла, мифологии.

[1] Дж. Уотсон. «Психология как наука о поведении». М., 1926. С. 281.

Сказанное не означает, конечно, что Фрейд или его последователи легко относились к своим ученым трудам и согласились бы рассматривать их рядоположно с другими концепциями. Разумеется, свое-то направление они считали самым верным в отражении природы человека — одинокого в одиноком мире с коварной, блудливой, плохо управляемой душой, не имеющей внешних опор и высшей помощи.

В этом плане, несмотря на явное различие и даже как бы противоположность подходов, бихевиоризм и психоанализ сходились — они строили психологические представления, не прибегая, не соотносясь с духовными реалиями. Личность не имела особой, априорной ценности, ее идеалы и стремления были лишь производными, сугубо вторичными от поведенческих (бихевиоризм) или бессознательных (психоанализ) процессов.

То и другое течения были последствиями, порождениями материализма и атеизма, поэтому отнюдь не случайно, что они оба достаточно легко ассимилировались с марксизмом: советская рефлексология как разновидность бихевиоризма претендовала в двадцатых годах на роль единственно марксистской психологии, весьма активен в этом плане был тогда и фрейдизм, справедливо подчеркивавший свое материалистическое начало. Можно считать, что именно в эти годы в России появились первые попытки создания фрейдомарксизма — направления, до сих пор имеющего место на Западе.

Теперь о «третьей силе» — *гуманистической психологии*. На этот раз прямого аналога или предтечи в отечественной психологии мы не найдем, просто потому, что это течение стало оформляться только в пятидесятых годах, когда советская психология была отделена от мировой непроницаемым «железным занавесом».

Гуманистические психологи прямо начали с того, что отбрасывалось первыми двумя силами. Камень, отвергнутый теми строителями, лег в основание их здания: человек, личность, — постулировали они, — обладает априорной ценностью, возможностью свободного творчества, индивидуальностью, стремлением к самораскрытию. Эти тенденции отнюдь не вторичны и производны, а составляют самую суть, вне которой человек просто перестает быть

человеком. Они являются подлинными движущими силами развития, а не изолированные поведенческие реакции или бессознательные комплексы, порожденные в далеком детстве. В качестве философской основы провозглашались при этом идеи классической Греции и европейского Возрождения, представления о человеке как мере, мериле всех вещей.

Когда в 1964 году в американском городе Олд Сейбрук собралась первая широкая конференция по гуманистической психологии, то ее участники, такие как Гордон Олпорт, Шарлотта Бюллер, Абрахам Маслоу, Ролло Мей, Карл Роджерс и другие, пришли к выводу, что две главные психологические школы (бихевиоризм и психоанализ) не видели в человеке специфически человеческого, игнорировали реальные проблемы человеческой жизни — проблемы добра, любви, самосознания и были ничем иным как «клеветой на человека». Гуманистическая психология как новая, третья сила должна была ввести эти реальности и исходить из них в своих исследованиях и практике.

Прежде чем оценить данный подход и его приложимость к современной постсоветской психологии, зададимся одним чрезвычайно важным для нашего контекста вопросом. Почему понадобилось более трех четвертей века, чтобы психология в лице основателей гуманистического подхода вернулась к отвергнутой в ее первых манифестах душевной реальности, к тем, как ей казалось, сугубо субъективным, трудноуловимым моментам, учет которых лишь мешает построению строгой психологической науки. В самом деле — ведь то, что человеческие ценности и смысл жизни не пустой звук, было известно давно, почему же только с конца пятидесятых годов это стало в психологии не просто идеей, частной концепцией, но *силой?*.

Ответить на этот вопрос невозможно, если рассматривать науку изолированно, вне того духовного и культурного контекста, который порождает ее и определяет ход ее развития. Научные увлечения, пристрастия, вектора возникают не сами по себе. Они суть одновременно ответ и проект. Ответ на жизненную ситуацию, состояние культуры. И проект будущего изменения и движения.

Эти две функции могут не совпадать, а иногда могут трагически расходиться. Им соответствуют линии отражения и преображения мира, всегда неизбежно связанные с текущей реальностью, не идущие, как думают многие, по своей особой, лишь внутренней, автономной логике чистой науки. Поэтому перемена научной парадигмы это всегда и возможная перемена мира, а перемена мира, в свою очередь, ведет к перемене научной парадигмы. Речь, конечно, о ведущих научных парадигмах, тех, которые выходят на авансцену, задают образ мыслей и видения, становятся «силой», а не просто отдельной

«школой». Параллельно существует и множество других, оказывающихся в тени. Можно сказать, что время выхватывает как луч прожектора лишь несколько конструкций и делает на них основную ставку.

Так что же изменилось во времени, в культуре, почему на авансцену, помимо двух, вышел третий подход, третья сила в психологии?

Прошла величайшая война (1939 — 1945). По старому определению, война есть продолжение политики другими средствми. За политикой стоит идеология, за идеологией — концепция личности, человека. Толстой писал — люди только делают вид, что торгуют, строят, воюют. Все, что они действительно делают — это решают нравственные проблемы. Это и составляет основное, главное дело человечества.

Наш век, унаследовав некоторые тенденции века девятнадцатого, тоже исходил из определенного решения, о котором мы уже говорили выше: человек был разоблачен, превращен в объект среди других объектов, в нечто относительное, лишенное внутренних опор и безусловных нравственных ориентиров. Психология приняла посильное участие в этом, «лишив» человека души, сознания, веры, любви.

Это последовательное разоблачение и низведение человека не могло не закончиться катастрофой. В Европе Восточной это была катастрофа коммунизма, в Европе Центральной и Западной — катастрофа фашизма. Эпицентром первой стала Россия, эпицентром второй стала Германия — два крупнейших, во многом определяющих народа Европы. Фашизм был, тем самым, воплощением развоплощенного человека. И это воплощение было чудовищным. Ведь фашизм, в отличие от коммунизма, даже не скрывал своего злодейского лика, намерений, отношения к человеку, презрения к «низшим» народам и т.п. И то, что он, тем не менее, имел успех, завоевывал симпатии столь многих людей того времени, не может быть объяснено ничем иным, кроме предшествующей истории отпадения от Бога и развенчания человека. В самом деле, если Бог мертв, как произнес Ницше в конце XIX века, а человек столь ничтожен и относителен, то почему следует стесняться и опасаться какого-то нравственного осуждения, тем более что оно тоже заведомо относительно. Именно подобный взгляд, его проникновение и повсеместное внедрение обеспечил успех фашизму, превратив последний из частной концепции в грозную силу, в двигатель страшного эксперимента, который должен был наглядно показать, продемонстрировать — к чему ведет подобный путь.

И к чести Запада надо сказать, что там общество, ученый мир очень серьезно восприняли уроки этого эксперимента и сделали

соответствующие выводы. Одним из таких выводов и было, на наш взгляд, появление гуманистической психологии.

Теперь о ее возможностях в нынешнее, постсоветское время. Прежде всего, этот подход представляется нам близким. Он противостоит психоанализу и бихевиоризму как вариантам материализма — учения, плоды которого мы достаточно вкусили[1]. Он возник как результат осознания катастрофы фашизма, во многом сходной с пережитой нами катастрофой коммунизма. Он преодолевает растлевающее разоблачение человека и возвращает к реальным ценностям. И все же есть моменты, которые и здесь вызывают сомнение.

Гуманистическая психология на Западе свелась, по преимуществу, к одной, пусть и важной области — психотерапии, не став широкогуманитарным подходом (о зарождении последнего в России мы будем говорить чуть позже). Особое внимание обратим и на то, что гуманистическая психология — порождение персоноцентрического сознания, где «я», «самость» — единственные и конечные ценности. Эта линия с неизбежностью ведет к индивидуализму и — в конечном итоге — к одиночеству человека, замыканию, на этот раз в своем самосовершенствовании ради самосовершенствования. На этом пути Бог — даже неочерченный, сугубо протестантский — либо теряется вовсе, либо становится «своим парнем», этаким членом тренинговой группы общения. Вместе с этим уходят сакральность и тайна, метафизический, духовный компонент развития.

Сколь значимым и недостающим для современного человека является этот компонент, говорит то обстоятельство, что в последнее время большое распространение на Западе получила так называемая *трансперсональная психология,* становящаяся даже, в известном смысле, «четвертой силой» наряду с бихевиоризмом, психоанализом и гуманистической психологией. Ее методы направлены на формирование и трансформацию особых, измененных состояний сознаний человека с помощью дозированного применения наркотиков, различных вариантов гипноза, гипервентиляции легких, технике нейролингвистического программирования и т.п. Теперь трансперсональная психология пришла и к нам в страну и так же претендует на место в постсоветском психологическом поле.

Несомненным является то, что исследования и практика трансперсональной психологии вполне доказывают существование и значимость метафизического пространства личности, само наличие сферы духовного, запредельного. Однако в целом эта линия представляется весьма пагубной и опасной: методы трансперсональной психологии рассчитаны на то, чтобы фактически вломиться с черного хода в духовное пространство и сразу, в течение нескольких сеансов, сломив естественные защитные силы, получить доступ к его богатствам. Поэтому (продолжая аналогию со взломом), ворвавшись туда чужаком и на короткое время, в состоянии одурманенности наркотиком, гипнозом или усиленным дыханием, человек берет без разбора все, что попадается, все, что привлечет сейчас его внимание. Но если быть серьезным и принимать духовное пространство как особую реальность, то надо знать, что пространство это отнюдь не однородно, в нем присутствуют качественно разные силы, в нем есть Свет и тьма, структура и иерархия того и другого и, беря, что ни попадя — лишь бы это было «духовным», мы можем нанести непоправимый, губительный вред своему развитию.

* * *

Итак, западные течения (мы разобрали не все, но некоторые основные линии), будучи перенесенными на постсоветскую почву, привнесут сюда и свои представления, модели человеческого развития, его идеалов, целей, задач. Далеко не все из этих моделей кажутся приемлемыми для нашего менталитета, нашей истории, часть из них вызывает серьезную критику и на самом Западе, который тоже отнюдь не так однороден в своих оценках и пристрастиях, как нам представлялось прежде. Но в любом случае — прямые заимствования и подражание — не лучший способ движения в науке. Нельзя догнать догоняя, подстраиваясь в хвост, повторяя чужие зигзаги и неизбежные в любом живом развитии ложные петли, ходы и остановки. Нужно понять свои задачи, ощутить свою логику и свое пространство. И

[1] Впрочем, шансы психоанализа сейчас неожиданно возросли, можно сказать, взлетели. 19 июля 1996 года вышел Указ Президента Российской Федерации «О возрождении и'развитии философского, клинического и прикладного психоанализа», который вызвал просто недоумение у большинства серьезных специалистов. «С каких это пор, - вопрошает, например, М.Г. Ярошевский, - направления научных исследований стали выбираться и задаваться «сверху» по указам, хотя бы и президентским?.. Некоторые лидеры нашей психологии, в свое время потратившие немало слов, чтобы «изобличать» идеологическую вредность фрейдизма, не только не подали голос протеста, но немедля, оттесняя друг друга, стали выщавать себя за тех, кто способен обеспечить «возрождение»: ведь за Указом брезжат соблазнительные миллиардные ассигнования. Перед нами наглядный пример падения нравственных (а в данном случае и научных) ценностей в мире науки в условиях «рыночной экономики». («Вопросы психологии». 1997. № 3. С. 131). М.Г. Ярошевскому можно возразить только в одном — традиция высочайших указов по любым поводам типична для России. Коммунисты ввели, как мы знаем, указы-постановления о научных направлениях и психология первой выдержала этот удар в июле 1936 года, когда вышло постановление «О педологических извращениях» (см. гл. III). Президентский указ — рецидив этого мышления, только минус поменялся на плюс, а так — та же узнаваемая большевистская внезапность, непродуманность, та же закулисная заинтересованность определеных лиц в подобного рода указах. Сходится даже июль месяц — только 60 лет спустя.

только тогда, в частности, твои успехи могут быть действительно интересны другим участникам того единого движения, каковым является подлинное познание — движения к Истине.

В чем тогда возможен российский ход, если не возвращаться к марксистским основаниям и не увлекаться всецело западными веяниями? Выше говорилось, что помимо названных, в постсоветское время пробиваются, оформляются и другие линии. Попытаемся кратко обозначить некоторые из них.

3. Гуманитарная психология

Одна из первых попыток осознанно ввести сам термин *«гуманитарная психология»* в отличие от широко известного термина «гуманистическая психология» состоялась, по-видимому, в мае 1990 г., когда ряд московских психологов собрались в Большой аудитории Института общей и педагогической психологии АПН СССР (ныне Психологический институт РАО), чтобы учредить отечественную Ассоциацию гуманистической психологии. На собрании, однако, возник спор о целесообразности именно такого названия новой ассоциации. Инициатором спора оказался тогда автор этих строк, который попытался в своем докладе доказать необходимость введения нового термина, исходя из того, что «гуманистическая психология» — уже сложившееся течение в мировой психологии, закрепленное, связанное с определенными воззрениями и именами (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др.), тогда как речь должна идти о новом и более широком подходе, в котором могут быть соотнесены и другие гуманитарные парадигмы, включая, разумеется, оригинальные достижения отечественной психологии. Например, положения культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, ценность которых порой превосходит (или как однажды выразился В.В. Давыдов «с головой покрывает») многие рассуждения западных гуманистических психологов. Однако эта и другая аргументация' большинством того учредительного собрания принята не была и Ассоциация психологов была все же названа «гуманистической», а не «гуманитарной». Говорили о непривычности термина, трудности дифференциации с другими подходами, о том, что рамки традиционного западного понимания гуманистической парадигмы можно рассматривать более свободно и т.п. Короче, доводы были отвергнуты, несмотря на то, что автор этих строк был избран тогда президентом Ассоциации (1990—1993).

[1] Братусь Б.С. Опыт обоснования гуманитарной психологии. — Вопросы психологии 1990. № 6.

Тем не менее, дальнейшее развитие показало все же необходимость введения в оборот отечественной науки именно понятия *гуманитарной психологии.* Причем, действительно, течение стало оформляться не на западный манер, а по-российски, т.е. очень широко, с включением не только специально психологических и психотерапевтических, но общих смысложизненных вопросов и проблем. В сознании определенной части российских психологов постепенно произошел, точнее, происходит поворот в ориентации: от прежней — естественнонаучной, от подражания, упования на образцы естественных наук к ориентации на образцы, достижения и ценности гуманитарного восприятия. Сейчас идет как бы соoирание гуманитарного мировоззрения. Мы сталкиваемся, знакомимся, по сути, впервые с теориями, взглядами, которые ранее были труднодоступными для отечественных психологов, открываются целые континенты русской философской мысли, появляются неизданные сочинения литературоведов и историков, раскрывается во всей полноте художественное творчество русского зарубежья и т.п. Соединенное вместе, это составит удивительное по силе и яркости полотно или — по отношению к психологии — целостное зеркало, отражаясь в котором, она сможет по-новому увидеть и понять свои проблемы[1].

Следует заметить, что отечественная гуманитарная психология оформляется (что было некогда и с гуманистической психологией на Западе) как секулярная и, если речь заходит о духовном, то оно, в основном, понимается как проект, проекция, из-себя-построение, лишенное самостоятельного онтологического статуса. Причем в этом усматривается нередко принципиальный момент. «Мы удержались, — пишет, например, Л.И. Воробьева в одной из первых статей, посвященных гуманитарной психологии и психотерапии, — от прямых онтологизаций духовной составляющей человека через представления религии... Мы удержались на уровне определения души как способности чувствовать неустранимые противоречия, обозначили символ, миф, архетип как способ удержания и трансформации такого рода противоречий, в которых одновременно аккумулирован опыт, накопленный человечеством для их преодоления. Разумеется, это не избавляет нас от столкновения с онтологической проблематикой, но позволяет подойти к ней разумно, не теряя, а расширяя возможности выбора и конст-

[1] Уже сейчас начинают появляться совершенно необычные для прежней психологии темы и ракурсы. Назовем, например, небольшое учебное пособие 13.П. Зинченко под названием «Возможна ли поэтическая антропология?» (Изд-во Российского открытого ун-та, 1994), в котором, согласно аннотации, «показано, что поэтические прозрения и живые поэтические метафоры помогают по-новому осмыслить известные научные данные о человеке и открыть новые страницы в его изучении».

руирования»[1]. Если говорить в этом плане о практической стороне (гуманитарной психотерапии), то она должна вести человека ко все более широкому и равноприемлемому выбору. «Это похоже», — поясняет Л.И. Воробьева, — на вычерчивание траектории пути, конечный пункт назначения которого неизвестен. **Смысл** состоит только в уменьшении неопределенности положения». Учитывая же многоаспектность, многопозиционность гуманитарного знания, «вопрос о его истинности—ложности отпадает сам собой»[2]. Исходя из такой позиции становится понятным стремление сугубо рядоположно анализировать все новые аспекты и подходы, будь то язычество, изменения сознания под влиянием наркотиков, воздействие разных видов искусства, буддизм или христианство. В результате такого перебора, последовательного гуманитарного анализа, исследователи надеются извлечь некое соединенное содержание и перенести его затем в психологию. Гуманитарный идеал научного познания, считает, например, В.М. Розин, предполагает изучение уникальных духовных феноменов, «которое способствует духовному процессу в человеке и высвобождает место для его развития»[3]. Занятие безусловно важное, однако, может ли область духовного адекватно отражаться лишь гуманитарной парадигмой, или здесь подразумевается и другой язык, другие способы познания и водительства? И главное, «высвобождая место для развития», как все же не задаться вопросом — развития куда, для чего?

4. О различении понятий «человек» и «личность»

Обозначенный выше вопрос о смысле психического развития возвращает к теме человека, проблеме его сущности. О необходимости обращения к этому уровню ясно говорил С.Л. Рубинштейн: «За проблемой психического закономерно, необходимо встает другая как исходная и фундаментальная — о месте не сознания только как такового во взаимосвязи явлений материального мира, а о месте человека в мире, в жизни»[4]. Рассуждения, восходящие к этому уровню, относятся, по преимуществу, к *философско-психологическим* или *философской психологии* (термин Г.И. Челпанова), поскольку затрагивает область граничную между философией и психологией,

[1] Воробьева Л.И. Гуманитарная психология: предмет и задачи. — Вопросы психологии. 1995. №2. С. 23-24.

[2] Там же. С. 28.

[3] Психология и новые идеалы научности (Материалы «круглого стола»). Вопросы философии. 1993. № 5. С. 14.

[4] Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. С. 254.

куда могут быть сведены, стянуты воедино нити отдельных психологических исследований и воззрений, где они могут быть отражены в своем единстве, откуда мы можем обозреть, воспринять психологию как целое, проникнуть в ее общий смысл и назначение.

То, насколько порой важно обращение к этому уровню, можно показать на примере одного из эпизодов научной жизни, рассмотрение которого поможет заодно представить собственное понимание автором проблемы человека в психологии.

В 1982 году вышла хрестоматия (тексты) по психологии личности под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер и А.А. Пузырея[1]. Эта быстро завоевавшая популярность учебная книга содержала среди прочих отрывки из сочинений М.М. Бахтина, в частности, его слова о том, что «...подлинная жизнь личности совершается как бы в точке ... несовпадения человека с самим собой, в точке выхода его за пределы всего того, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, «заочно». Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, т.е. заочная правда, становится унижающей и умертвляющей его ложью»[2].

Если вдуматься в эти слова, то они представляют, по сути, смертный приговор для научной психологии личности, которая построена как раз на «подслушивании» и «подсматривании», на стремлении к получению «заочной правды». Редакторы хрестоматии этой опасности не усмотрели и в предисловии к извлечениям из М.М. Бахтина, напротив, лишь подчеркнули, сколь «глубоко гуманистичен... протест против «овнешняющего» и «завершающегося» определения личности»[3].

Опасность внедрения такой безоговорочной трактовки (напомним, что речь шла об учебном издании для широкого пользования) была замечена А.В. Петровским. «Трудно найти, — писал он в специальной заметке по этому поводу, — другое столь сильно и лаконично выраженное обвинительное заключение, предъявленное детерминистской психологии, которая в своей экспериментальной практике, минуя интроспекцию, пытается получить (подсмотреть, предсказать, определить) эту заочную правду о личности другого человека, исследуя как раз то ее «вещное» бытие, которое Бахтин объявляет «унижающей и умертвляющей ложью»[4]. Далее А.В. Петровский утверждал, что как раз при опоре на «вещное бытие», только принимая его реалии, возможно объективное познание личнос-

[1] Психология личности: Тексты /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и А.А. Пузырея. М, Изд-во МГУ, 1982.

[2] Там же. С. 255—256.

[3] Там же. С. 250.

[4] Петровский А.В. Психология вчера и сегодня — Вестник Моск. Ун-та. Серия 14. Психология. 1985. № 3. С. 57.

ти, в том числе и «диалогическое проникновение в ее глубины». Этим утверждением, при всей несомненной авторитетности его автора, не снималась, однако, главная проблема: если возможна «заочная правда о личности» (а это, действительно, необходимое условие научности психологии), то какова должна быть эта правда, чтобы она согласовывалась, не противоречила трансцендирующей, не имеющей фиксированных границ природе человеческого развития?

Решение спора возможно, на наш взгляд, только при условии разведения, различения понятий «человек» и «личность». Отечественная психология, сделавшая столь много для различения понятий «индивид», «личность», «характер», «индивидуальность» и т.п., прошла почему-то мимо этого, столь принципиально важного вопроса. Между тем то, о чем говорит и на чем настаивает М.М. Бахтин, относится, прежде всего, к общему понятию «человек». Выше уже приведенных слов, послуживших основой спора, он пишет: «Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества: А есть А»[1]. Эти слова целиком согласуются с пониманием человека как бесмасштабного существа, трансцендирующего свои границы, не поддающегося конечным определениям и т.п. Аппарат психологической науки не может и не должен быть применен здесь непосредственно. Другое дело — личность с позиций психолога. Она может быть, на наш взгляд, понята как особый психологический инструмент, орудие, принадлежащее, служащее человеку, как и другие психологические орудия и инструменты.

Вспомним расхожий в психологии афоризм: «Мыслит (или запоминает) не мышление (или память), а человек». Так же и бытийствует не личность, а человек. Если начинает мыслить мышление или запоминать память, то это либо патология, либо мука, выход орудия из-под власти. Это касается и остального, включая и характер, и личность. Каждое из подобных образований может претендовать на роль главного и целого. Например, характер в подростковом возрасте, подсознание при невротическом развитии. Наиболее тонкая и современная подмена — подмена человека личностью, попытка выведения из нее самой оснований человеческой жизни, некий персоноцентризм, успешно насаждаемый и психологией.

Но в чем тогда видится специфика личности как психологического инструмента? Вспомним, что человек единственный из всех живых существ не принадлежит своему роду по факту рождения. Ему надо человеческую сущность присвоить, «выделаться в человека». По меткому слову немецкого философа Гердера, «человек первый вольноотпущенник природы». Дарованная ему свобода означала одновременно и неизбежно лишение его защищающих и поддерживающих

Психология личности... С. 255.

инстинктов, т.е. сложных и автоматизированных систем действии, разворачивающихся в ответ на пусковые раздражители. Формирование и самостроительство в себе человека, сама способность и возможность такого самостроительства подразумевают наличие некоего психологического орудия, органа, постоянно координирующего и направляющего этот невиданный, не имеющий аналогов в живой природе процесс. Этим органом и является **личность человека**[1].

Таким образом, личность как специфическая, не сводимая к другим измерениям конструкция не является самодостаточной, в себе самой несущей конечный смысл. Смысл этот обретается в зависимости от складывающихся отношений, связей с сущностными характеристиками человеческого бытия. Иначе говоря, сущность личности и сущность человека отличны друг от друга тем, что первое есть способ, инструмент, средство организации достижения второго, а значит, первое получает смысл и оправдание во втором. Поэтому, возвращаясь к дискуссии вокруг слов М.М. Бахтина, мы можем утверждать, что личность как психологический инструмент может «овнешняться», о ней можно говорить «заочно» и это отнюдь не противоречит трансцендирующей, изменяющейся природе человека. Что касается неизбежно возникающего расхождения, пропасти, противоречия между «вещным» (конечным) и «смысловым» (потенциально бесконечным), то оно в свете сказанного не есть препятствие объективному познанию личности, обходить которое надо возвеличиванием осязаемого «вещного» в ущерб неясному «смысловому» (в противовес «понимающей психологии», экзистенциальным подходам или литературоведческим толкам о превалировании второго над первым). Следует не избегать, не маскировать это противоречие, а, напротив, выщелить и зафиксировать его как первую объективную данность. Конечно, задача психолога тогда весьма усложняется — он должен уметь соотносить личность с тем, что бесконечно ее больше, соотносить определенное и определяемое, с тем, что неопределенно и неопределимо, но именно это соотнесение, напряжение, разность потенциалов есть важнейшее условие существования личности, собственно то, что и придает этому существованию истинный смысл, энергию и масштаб.

* * *

Предложенное понимание личности ведет к существенному пересмотру целого ряда проблем и подходов. Например, проблемы *психического здоровья, нормы, нормального развития личности.*

См. Братусь Б.С. Аномалии личности. М.. 1988.

Определение нормы относится к числу, наверное, самых нелюбимых вопросов, которые стараются, по возможности, обойти. Когда же избегнуть этого уже нельзя, то все продолжает сводиться, в конечном итоге, либо к статистическим критериям (такой как большинство), либо к адаптационным, гомеостатическим (хорошая приспособляемость, уравновешенность со средой), либо к негативным критериям (пока явно не болен, то здоров) и т.п. Если приглядеться к этим критериям, нетрудно увидеть, что они пришли в психологию, главным образом, из дисциплин естественного цикла: так, из биологии, в частности, из физиологии пришли понятия адаптивности и гомеостазиса, из медицины — модели здоровья как отсутствие болезней и т.п. Будучи примененными к личности, эти критерии оказываются явно недостаточными, редуцированными, хотя при этом по-прежнему активно используемыми[1].

Возможность качественно иного понимания нормы возникает тогда, когда мы разводим понятия «человек» и «личность», когда начинаем рассматривать личность как инструмент, орган, орудие обретения человеческой сущности. В этом случае характеристика личности, ее «нормальность» или «аномальность» будет зависеть от того, как служит она человеку, способствует ли ее позиция, конкретная организация и направленность приобщению к родовой человеческой сущности или, напротив, разобщает с этой сущностью, запутывает и усложняет связи с ней. Таким образом, понятие нормы приобретает иную адресность и вектор: не к статистике, адаптации и т.п., а к представлению о человеческой сущности, к образу человека в культуре. Другими словами, проблема нормального развития личности ставится в зависимость от проблемы нормального развития человека. Последнее, в самом общем виде, понимается как такое развитие, которое ведет к обретению человеческой сущности, к соответствию своему понятию — понятию человека.

Здесь, однако, возникает серьезная трудность: ведь даже если психолог и согласится с таким представлением, как ему реально

[1] Известное раздражение, неуважение к этим критериям высказывали еще старые авторы. Так, французский психиатр Кюльер говорил, что «в тот самый день, когда больше не будет полунормальных людей, цивилизованный мир погибнет, погибнет не от избытка мудрости, а от избытка посредственности». А согласно Ломброзо «нормальный человек — это человек, обладающий хорошим аппетитом, порядочный работник, эгоист, рутинер, терпеливый, уважающий всякую власть, домашнее животное». Если же брать времена совсем недавние, то академика А.Д. Сахарова собирались помещать в психиатрическую клинику и удерживать там на основании все тех же вышеназванных критериев — неадаптивности, выпадения из общепринятого русла и т.п. Понятно, что за этим лежали политические мотивы, но реализовывались они через вполне определенные критерии и представления, согласно которым «нормальным» Брежневу и Черненко противостоял «ненормальный» Сахаров.

применить его, иначе говоря, как от области предельных абстракций и положений перейти к уровню психологического понимания, к реально осязаемым, образным представлениям о сущностных характеристиках человека в мире. Следует признать, что в отечественной психологии подобный переход, философско-психологическое развертывание представлений о человеческой сущности в достаточной полноте дано только у С.Л. Рубинштейна в его последней работе «Человек и мир»[1], хотя отдельные замечательные размышления на эту тему, разумеется, есть и в сочинениях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, П.Я. Гальперина и других классиков отечественной психологии. Конечно, со времени написания данной работы (1958—1960 гг.) ряд оценок и ракурсов, взглядов изменились, но главная, на наш взгляд, путеводная нить осталась: центральной, смыслообразующей характеристикой человека является способ его отношения к другому человеку. Эта мысль присутствует у многих психологов, но у С.Л. Рубинштейна она была выражена с особой яркостью и глубиной: «...Первейшее из первых условий жизни человека — это другой человек. Отношение к другому, и людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. «Сердце» человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего оно стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому человеку он способен устанавливать. Психологический анализ человеческой жизни, направленный на раскрытие отношений человека к другим людям, составляет ядро подлинно жизненной психологии. Здесь вместе с тем область «стыка» психологии с этикой»[2].

Как и всякий живой, жизненный процесс, отношение к другому несет в себе некое исходное, движущее противоречие. Поскольку оно *движущее,* то, естественно, и неразрешимое до конца в жизни, но требующее того, чтобы человек, словами Гегеля, его «вмещал и выдерживал». Это противоречие, борьба противоположно направленных тенденций, векторов есть, с одной стороны, рассмотрение человека как самоценности, как непосредственно родового существа, а с другой — понимание его как средства, подчиненного внешней цели, как вещи, пусть даже особой, уникальной, но вещи среди других вещей. Приближение к первому и противоборство, противостояние второму — основное условие развития человека как человека. Продолжая и конкретизируя эту линию можно прийти к развернутому пониманию нормального развития, пос-

[1] См. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М., 1997.
[2] См. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 262—263.

ледовательно рассмотрев его основные атрибуты и признаки. Ясно, что для всякой концепции самое уязвимое — это конечное определение, в особенности, если оно дается без предварительного пошагового разъяснения. Не имея, однако, возможности здесь для такого разъяснения и лишь отослав читателя к соответствующей литературе[1], рискнем дать наше определение нормального развития как оно было сформулировано десять лет назад: «Нормальное развитие — это такое развитие, которое ведет человека к обретению им родовой человеческой сущности. Условиями и одновременно критериями этого развития являются: отношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе бесконечные потенции рода «человек» (центральное системообразующее отношение); способность к децентрации, самоотдаче и любви как способу реализации этого отношения; творческий, целетворящий характер жизнедеятельности; потребность в позитивной свободе; способность к свободному волепроявлению; возможность самопроектирования будущего; вера в осуществимость намеченного; внутренняя ответственность перед собой и другими, прошлыми и будущими поколениями; стремление к обретению сквозного общего смысла своей жизни»[2].

Подчеркнем следующее. Во-первых, речь в определении не о состоянии, а о тенденции, собственно развитии, т.е. не о некоем месте пребывания, стоянии, а о движении, полном риска. Потому важен не сам перечень выделенных признаков, атрибутов (можно, конечно, дополнить другими), а то, ухватывают ли они, высвечивают, определяют общее направление пути[3].

И второе. Напомним, что речь о развитии **человека,** тогда как личность, согласно предложенному пониманию — специфический инструмент, орудие этого развития и в качестве инструмента оценивается в зависимости от того, как служит своему назначению, т.е. способствует или нет приобщению человека к его сущности. В

[1] См. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности. М., 1985; Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988; Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. М., 1994.

[2] Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. С. 50.

[3] Конечной точки, предвидимого состояния мы никогда, по сути, не достигаем. Гёте, подводя итог своей долгой и столь, казалось бы, многоуспешной жизни, признавался, что у него чувство, будто он ворочал неподъемный камень, пытаясь установить, уложить в некое уготованное для него место; всю жизнь и огромными усилиями, но так и не уложил окончательно. Понятно, что эти вечные несовмещения с намеченным, предощущаемым, эти усилия по достижению не достигаемого отнюдь не излишество или напрасная трата, но неизбежность и условие пути. Мы уже говорили выше, что поставленная далекая цель вообще обычно невыполнима в первоначально задуманной форме и видимые нами воплощения есть на деле следствия определенного рода смещений, направление которых очевидно — от высшего к низшему и цель тем самым не должна быть равной сама себе, но для достижения реального и возможного надо стремиться к идеальному и невозможному.

свою очередь личность необходимо разделять, разводить с «психическим», на чем настаивал А.Н. Леонтьев, говоря о «личностном» как об особом «измерении»[1]. Поэтому человек может быть вполне психически здоровым (хорошо запоминать и мыслить, ставить сложные цели, быть деятельным, руководствоваться осознанными мотивами, достигать успехов, избегать неудач и т.п.) и одновременно быть личностно ущербным, больным (не координировать, не направлять свою жизнь к достижению человеческой сущности, разобщаться с ней, удовлетворяться суррогатами и т.п.). Кстати, если говорить о тенденциях современного общества, то надо признать, что для все большего количества людей становится характерным именно этот диагноз: *психически здоров, но личностно болен*.

5. Нравственная психология

Напомним, что для рассмотрения российского пути развития психологии были выбраны три подхода: гуманитарная психология, нравственная психология, христианская психология. Проведенный выше теоретический экскурс был необходим, чтобы подойти ко второму из намеченных подходов.

Хотя связь этики как учения о нравственных началах и психологии охотно признается почти всеми, конкретные, реальные формы этой связи остаются весьма малопредставимы. Как подчеркивает, например, Ю.А. Шрейдер, этика антипсихологична[2]. Более того, в определенном смысле, она принципиально антипсихологична. Ибо положения этики нормативны, они предписывают поступать так или иначе, не соотносясь, по сути, с психологией конкретного человека, его возможностями, положением, психологическими реалиями.

И психологов, на самом деле, этика тоже не особо-то интересует. Она имеет, в лучшем случае, совещательный, но отнюдь не решающий голос в исследовательском процессе. Задача в том, чтобы понять логику собственно психологического движения, психологических механизмов, а уже соотносится ли это с нравственным законом или нет — дело второе. Соотносится — хорошо. Нет — психолог ничего поделать не может и не должен. Главное — не изменить своей, психологической правде. Наша задача — искать, где потеряно, а не там, где морально светло. Отсюда и отношение к изучению проблем нравственного развития. Это одна из возможных форм при-

[1] Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1983. С. 385.

[2] Шрейдер Ю.А. Лекции по этике. М., 1994.

менения психологического аппарата, определенный, причем достаточно узкий путь, угол зрения наряду с другими ракурсами и путями. Более того, после З. Фрейда многие психологи усвоили, что нравственность нередко просто фальшь, поза, прикрытие истинного лица, что обусловлена лишь внешним давлением, общепринятой формой, цензурой. Поэтому, несмотря на декларируемые терпимость и почтение, внутреннее убеждение (перешедшее часто в стойкое предубеждение) требует от психолога держаться настороже и подалее от нравственных императивов и рассуждений.

Так может происходить и продолжаться до поры, пока мы полагаем цели изучения личности, критерии ее развития, нормы, здоровья в ней самой, не соотнося их с путем развития человека. Если же это соотнесение произвести, то, как мы видели выше, меняется понятие нормы, здоровья, самого смысла личности. И тогда психология из позиции наблюдения, наблюдателя борьбы за человека в человеке входит сама в область этой борьбы как ее инструмент, орудие и совершается кардинальный поворот: из психологии, согласной рассматривать нравственное развитие как частный вариант, сегмент своего применения, она становится *нравственной психологией,* действующей и видящей мир изнутри нравственного пространства, нравственного понимания человека.

Это схождение, вхождение психологии в этику, в нравственное пространство, необходимо подразумевает наличие некой общей, единой, пересекающейся территории, предмета (причем не второстепенного, а существенного), который одновременно должен принадлежать как психологии, так и этике. Таковой территорией и является отношение человека к другому (вспомним конец вышеприведенной цитаты С.Л. Рубинштейна — «здесь одновременно область «стыка» психологии и этики»). Действительно, это отношение — центр, стержень этики, возьмем ли мы ее «золотое правило» (поступай с другим так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой) или знаменитый нравственный императив И. Канта (поступай так, чтобы максима, правило твоего поведения могло быть распространено на все человечество без исключения). И одновременно, отношение к другому — это конкретно-психологический факт, правомерный объект психологии. Если при этом рассматривать личность как инструмент достижения человеком своего понятия, сущности, то оказывается, что психология исследует пути к некоему едино с этикой понимаемому благу (равно как законы и последствия отклонений от этих путей). Этика тогда по отношению к психологии оказывается не просто нормативной, абстрактно принудительной, но разрабатывающей, указующей те вектора, которые в основном и главном совпадают с предельной ориентацией, векторами нормального психологического развития.

То, что нравственная ориентация не есть лишь внешнее давление, но составляет суть, путеводную нить нормального развития, является критерием и отражением *личностного здоровья,* можно вывести не только из теоретических рассуждений, но и из конкретно-психологических, клинических данных. Еще у А.Ф. Лазурского находим мы основанный на тщательных наблюдениях вывод, что здоровье личности в наибольшей степени обеспечивает идеал бескорыстного отношения к другому. «Альтруизм, — писал он, — в том или ином виде представляется формой, и средством, и показателем наилучшей гармонии между личностью и средой. Здесь извращенных нет»[1]. Современные авторы, используя другую терминологию, приходили к сходным выводам[2]. Наши данные так же показывают, что отклонения личности, невротическое развитие тесно связаны с эгоцентрической ориентацией, в то время как наиболее благоприятные условия для развития личности создает противоположная эгоцентрической просоциальная ориентация[3].

Итак, намечается определенное совпадение векторов двух наук. Именно векторов, а не отдельных методов, фигур, построений; некая линия общей направленности, разделив которую психология личности из позиции отстояния по отношению к нравственности может войти под ее сень, стать самой нравственной. Не в том, разумеется, смысле, что она будет ее отныне олицетворять, а в том, что она будет сознательно служить ей, зная при этом, что отнюдь не теряет своей объективности, ибо служит тому, что действительно составляет сущность человеческой жизни.

Сказанное не означает, конечно, что вся остальная психология объявляется автором безнравственной (точнее было бы сказать внеравственной), что сбрасываются со счетов, обесцениваются ее достижения, глубины познания, реальная помощь людям и т.д. Точно так же, например, как провозглашение культурно-исторической школы отнюдь не означает, что другие школы психологии являются некультурными и внеисторичными. Важно, что акцентируется, становится в центр, понимается как основа психологического видения. И в данном случае речь лишь о попытке соотнести линии психологии и этики, показать неслучайность их схождения и возможность для психологии *сознательного* служения задачам нравственного развития.

[1] Лазурский А.Ф. Классификация личностей. М., 1923. С. 299.

[2] Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1963; Неймарк М.С. Направленность личности и аффект неадекватности у подростков. — В кн.: Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 1972; Golomb A., Reykowski J. Studia nad rozwojem standardow ewaluatywnych. Warzawa, 1985 и др.

[3] Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. М., 1980.

В свою очередь, как мы видели, это соотнесение невозможно без опоры на определенное представление о сущности, образе человека. Нравственная психологая в этом плане есть психология, могущая быть соотнесенной с нередуцированным представлением о человеке. Мы уже упоминали о разных формах подмены человека его психологическими орудиями — подсознанием, характером, личностью. С подобной позиции психоанализ — это **психология подсознания,** идентифицируемого с человеческой сутью; бихевиоризм — **психология характера,** способов действования, принимаемых за человеческую суть; гуманистическая психология — это **психология личности,** самости как самоцели человека[1]; нравственная психология — это, наконец, **психология** человека, поскольку в ней психологические орудия и инструменты даны не сами по себе, а в соотнесении с тем, что их безмерно превосходит и чему они призваны по сути и смыслу служить.

Важно заметить, что каждое из психологических образований, ставшее в центре перечисленных концепций, в ходе продуктивного развития преодолевается, «снимается» другими инстанциями: подсознание сознанием (вспомним позицию самого 3. Фрейда — на месте Оно должно стоять Я); характер личностью (если подросток — сплошной характер, то юноша уже личность с характером, а у зрелого человека личность должна возрасти настолько, чтобы вовсе подчинить, «снять» характер). И — наконец — личность в итоге «снимается» человеком. «Если человек понимает свое назначение, — пишет Л.Н. Толстой, — но не отрекается от своей личности, то он подобен человеку, которому даны внутренние ключи без внешних»[2]. Личность — внутренний ключ. Сложный, уникальный, бесценный, трудноовладеваемый. Но на определенном этапе он исчерпывает свои возможности открытия и требуется новый; в этом плане личность отходит, отбрасывается, «снимается» как сослужившее, усвоенное и открывается во всей полноте то, чему она служила. Предельное для каждого услышать «Се человек». Не характер, не иерархия мотивов, не смысловая сфера, не личность даже, а именно — человек.

Специально подчеркнем — «снятие» не означает уничтожения или нивелирования. Характер ведь не отменяется к зрелости, но получает в нормальном развитии подчинение, *управление* личностью, входит в иные системные отношения. Поэтому нравственная психология, восходящая к человеку, не исключает достижении, методов, наблюдений других подходов, фиксирующихся на подсознании, характере или личности, но, напротив, способна вместить, соотнести их между собой как исследование разных сторон (этапов) психологии человеческого развития, объединенных общей задачей обретения человеком своей сущности, своего понятия.

[1] Вспомним остроумную критику В. Франклом центрального тезиса западной гуманистической психологии о самоактуализации личности. Он приводит сравнение с бумерангом, задача которого вовсе не в том, чтобы он вернулся к тому, кто его послал (хотя большинство считает именно так), а в том, чтобы поразить цель. Возврат, на самом деле, есть свидетельство не прибытка, а неудачи или промаха. То же и с самоактуализацией личности. Будучи направленной на самою себя, она означает промах в главном.

[2] Толстой Л.Н.. Путь жизни. М., 1990. С. 327.

6. Христианская психология

Теперь осталось сказать о последней из намеченных нами линий рассмотрения — о *христианской психологии.* На самом деле, предыдущие рассуждения прямо подводят нас к этому. Если мы говорим о нравственном законе, то неизбежно встает вопрос о его основаниях. Относительны они или абсолютны. Временное и вынужденное соглашение, общественный договор, субъективное мнение или абсолютное, Богом данное установление? Скажут, что это вопрос религии, т.е. вопрос научно недискутируемый, необсуждаемый. Но дело в том, что он был и остается необыкновенно существенным для конкретного психологического функционирования. Здесь, по сути, то же, что и во взаимоотношениях с этикой: есть вектора и линии, которые в психологии и религии тесно соединены, соотносимы.

Что же на этот раз составляет общую территорию, предмет пересекающегося рассмотрения? Это — прежде всего — **вера.** Вера — несомненный психологический факт, предпосылка осуществления, необходимая поддержка, условие любой сколь-нибудь сложно организованной человеческой активности[1]. Предположим, некто задумал построить новый дом и жить в нем долгие годы, или окончить вуз и стать врачом, или вырастить всех своих детей и обеспечить им счастливое будущее. Любое из задуманного способно осуществиться, но далеко не автоматически и обязательно, а более или менее возможно, вероятно (однокоренное слово с верой). И для этого недостаточно самого принятия решения, сознания мотива, доводов разума, усилий воли и т.п. Человек не машина, выполняющая принятую или заданную ему программу по достижению результата. Ему необходимо наличие целостного образа будущего, который поддерживается и живет в нем, с которым у него эмоциональная, теплая связь, в которой — и иного слова не подобрать — он **верит,** часто несмотря на колебания, ослабление воли или разумные доводы, призывающие повременить или вовсе прекратить

[1] См. Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. М., 1994.

деятельность. Если воспринять мир совсем реально, информативно точно, со всеми его опасностями, подвохами, поворотами судьбы, внезапностью болезни и смерти, то можно замереть или вслед за поэтом воскликнуть: «Кто смеет молвить «до свидания» чрез бездну двух или трех дней». А мы смеем, потому что привычно **верим** в свои завтра и послезавтра. И без этого остановилась бы жизнь.

Итак, вера это отнюдь не только религиозный феномен, как продолжают думать воспитанные атеизмом психологи. Механизмом, усилием веры поддерживается и эмоционально притягивается, прилепляется к сердцу, запечатлевается образ, существование и осуществление которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно-чувственную представленность сознанию нереализованное в действительности делает субъективно реальным, осязаемым, недостижимое видимо достижимым, будущее настоящим, по жизни сопутствующим, греющим и ведущим.

Вера при этом имеет, конечно, внешние, отмечаемые другими, признаки ее присутствия в человеке, но ее бытие, наличие, очевидность — внутри. Верящий *свидетельствует* прежде всего себе и лишь косвенно, через себя — другим. Доказать, обрисовать другому предмет, образ веры до конца нельзя, ибо с внешней позиции он всегда лишь вероятен, но не доказуемо достоверен[1]. Веру поэтому нельзя заполучить извне, нельзя передать наставлением или примером. Нельзя решить, скажем, что все верят в это и отныне я поэтому верю. На деле неизбежно получится другое, что можно выразить формулой: «Все верят в это и отныне я поэтому *думаю, что я верю*». О вере можно, конечно, и нужно думать, но ее нельзя надумать, создать размышлением, она подразумевает, обнаруживает себя как личное и непосредственное усмотрение, ощущение образа, а не его умственное выведение как некоего силлогизма или внешней необходимости.

В то же время очевидно, что внутренняя достоверность не дается просто, задаром и одномоментно, но требует специальной психологической работы, усилий по строительству, восстановлению образа веры. Этот процесс обычно начинается при довольно колеблющихся, почти равных шансах, равной мере веры и неве-

[1] В этом плане веру другого можно принять, в свою очередь, лишь поверив в нее, и такой дар веры, доверие, вера до свершения и подтверждения — особый знак и помощь, причем часто куда более ценная (и уж, конечно, более редкая), чем рентгеновский объективный разбор, стремление к восприятию человека «как он есть». Последнее вне соотнесения с первым (верой в образ веры, в образ будущего другого) может порой оказаться просто пагубным, затворяя горизонты и потенциальные возможности должного развития человека. Замечательна мысль Гете, что если мы будем принимать людей такими, какие они есть, то сделаем их хуже; а если мы будем обращаться с ними как с теми, кем они хотят быть, то приведем их туда, куда их следует привести.

рия, пятьдесят на пятьдесят. Вера в этих условиях должна преодолеть неверие, оформить и сохранить образ, вопреки неизбежным сомнениям. Именно здесь — область возникновения, испытания и искушения веры. Важно заметить, что примерно та же вероятность успеха характерна для начала (а, нередко, сопровождения) сложной жизненной деятельности, и вера побеждающая, преодолевающая сомнения, меру неверия становится в этих условиях наиболее адекватной основой и помощью, тогда как *надежда,* готовая возникнуть при самой минимальной вероятности успеха — слабая, иссякающая (но зато, правда, умирающая последней) поддержка, а *уверенность* (высокая вероятность успеха) требует выполнения слишком многих условий, которые далеко не всегда могут быть предоставлены реальной жизнью.

И, наконец, вера тесно связана со *смыслообразованием.* Известна формула А.Н. Леонтьева, согласно которой личностный смысл порождается отношением мотива (деятельности) к цели (действия)[1]. Подчеркнем, однако, что речь при этом идет о личностном смысле замкнутой на себе деятельности, тогда как переходя к более общим смыслам, мы сталкиваемся с иными условиями порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета потребности (или мотива по А.Н. Леонтьеву), он действует ради целостного образа новой жизни, в которую будет включен этот предмет. И в этот образ (вспомним — сугубо вероятный на деле) человек должен поверить, принять его как уже существующий, влияющий, сопровождающий сегодняшнюю жизнь. Продвижение требует принятия того, чего нет, как то, что есть. Это внутреннее принятие — сугубая продукция, работа веры. И если смыслы деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются живым образом будущего, освещающим и животворящим настоящее или — отношением образа веры к наличному состоянию человека.

Сходное и с *верой религиозной.* В основе ее также восстановление в себе путеводного Образа, никогда не могущего быть до конца доказанным как теорема (в данном случае как теодицея). Образ этот — что прозвучит резко — так же с позиции объективности вероятен и на множество аргументов «за» находится столько же «против». И вновь — мера веры может быть равна мере неверия и надобно превозмочь последнюю через усилия и нередкую борьбу («внутреннюю брань»). И вновь — смысл зависит от веры и потеря ее способна обессмысливать бытие.

Разумеется есть, и притом весьма существенные, отличия человека верящего (нерелигиозная вера) и верующего (религиозная

[1] См. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1968.

вера), но сейчас нам важно зафиксировать наличие принципиально общей территории, единство психологической основы самого феномена веры, несмотря на возможные весьма серьезные различия ее форм. Данных различий мы здесь касаться не будем, поскольку это уведет нас далеко в сторону, отметим лишь, что если нерелигиозная вера, нерелигиозные предметы, образы веры чаще соотнесены, ограничены строительством, смыслообеспечением текущих деятельностей, то вера религиозная по самой своей сути всегда восходит, проясняет связь с конечными, *предельными* вопросами жизни и смерти, созидая, удерживая духовную сферу как завершение, купол человеческого облика.

И подчеркнем вновь — речь здесь не об отвлеченных философских или теологических аспектах, а об аспектах психологических, вернее о той философии и теологии жизни, которая разыгрывается, воспроизводится в психологии, сознании человека. Замечательный мыслитель начала века В.Н. Несмелое писал: «Все ученые толкователи религии — и древние, и новые — почему-то интресуются только одним, что именно когда-нибудь думалось или думается человеку о Боге, и откуда бы человек мог почерпнуть свои думы о Нем. А между тем, думая о Боге, человек думает и о себе самом, и религиозное сознание человека всегда и непременно является составной частью его самосознания»[1].

В этом плане можно сказать, что формы религии отражают устоявшиеся, прошедшие проверку веками ответы на вопросы о человеческом существовании, на неизбывные, сущностные потребности человека, на само наличие в нем особого — **метафизического пространства.** Вспомним В. Франкла, который говорил о ноосфере или духовном измерении человека. Он говорил об этом ведь не как отвлеченный философ, а как психолог, психотерапевт, который видел, ощущал эту материю в опыте, причем в особом, остром, экстремальном опыте пребывания в лагере смерти[2]. Впрочем, материю эту нередко ощущает любой серьезный психолог, который погружается в работу с реальным человеком. Э. Фромм утверждал, например, что понять индивидуального пациента или любого человека вообще можно, лишь установив его ответ на экзистенциальный вопрос, его тайную приватную религию, поскольку большая часть того, что считается «психологическими проблемами» — это лишь вторичное следствие этого базисного ответа, а потому бесполезно лечить до того, как был понят этот базисный ответ — тайная индивидуальная религия. Добавим, что эта индивидуальная религия может не совпадать с сознательно заявленной религиозной принадлежностью, может, наконец, сочетаться с полным отрицанием какой-либо религии, даже провозглашением атеизма, но — что для нас главное — она существует как реальный психологический факт, реальная внутренняя опора человеческой жизни. Более того — опора неустранимая, незаменимая, хотя, конечно, могущая менять свои названия, объяснения и интерпретации.

[1] Несмелое В.Н. Наука о человеке. Казань, 1994. С. 279—280.

[2] См. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.

Однако вступление в метафизическое пространство, в область духовного измерения необходимо ставит вопрос о его природе, о тех идеях, образах, ценностях, опосредствующих символах (медиаторах), которые составляют эту сферу, строят и определяют ее конструкцию и движение. Наиболее распространенная сейчас позиция — это ставка на так называемые *общечеловеческие ценности,* т.е. ценности, идеи, установления, свойственные всему человечеству. Такая позиция, вполне подходящая, адекватная нравственному действию, психологически, энергетически оказывается, однако, нередко недостаточной, как бы вторичной для духовной сферы. Дело в том, что любая ценность, прежде чем стать «общечеловеческой», была «частночеловеческой», возникла в определенной культуре, в нее кто-то верил, за нее кто-то страдал, свидетельствовал о ней, ее кто-то отстаивал, порой ценою жизни. В этом плане «общечеловеческая ценность» есть готовый, «снятый» результат живого культурного процесса. На костер люди всходили не за абстрактно общечеловеческие ценности, хотя их мужество и свидетельство имеет, конечно, общечеловеческий смысл. Духовная сфера такова, что для ее удержания как целого нужна напряженная, восходящая энергия личной веры, той самой индивидуальной религии, о которой говорил Э. Фромм. Если же учесть, что эта сфера, в свою очередь, завершает и удерживает всего человека как целого в этом мире, то роль и значение веры как условия осмысленности и полноты бытия, станут особо ясными. Вспомним восклицание одного из героев Ф.М. Достоевского: «Если Бога нет, то какой я штабс-капитан!» Речь здесь опять о психологии, а не о философии, о непосредственном ощущении, ужасе человека, вдруг представившего, что будет, если он потеряет конечное и, одновременно, непосредственно им переживаемое основание своего бытия, своей реальной жизни, включая и штабс-капитанство. Вспомним и другие известные слова Ф.М. Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Здесь опять об осознании последствий потери конечных и одновременно началообразующих оснований, психологическое удержание которых подразумевает работу веры.

Автор, конечно, не вправе настаивать на тех основаниях духовной жизни, которые он разделяет, но вовсе не должен и скрывать свою позицию. Она проста и банальна: мы взросли в христианской культуре (хоть и многократно предавали ее) и там следует искать наши

основания и ключи. Центральным посредником, помощником, Образом в этой культуре является фигура Христа. И это имеет самое непосредственное отношение к психологии развития. Сошлемся на В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунова, которые после тщательного критического анализа различных видов опосредователей (медиаторов) духовного роста вынуждены признать: «И все же Августин был прав, говоря, что истинным медиатром является Богочеловек... Для нас он истинный, потому что именно Богочеловек очеловечивает и одухотворяет все остальные медиаторы»[1]. Спаситель — фокус, спасение, оправдание и упование нашей культуры, олицетворение истинного образа, сущности человека, тот пункт, цель, точка устремления, выше которой нельзя поставить, но и ниже не должно опускаться. По-гречески «грех» (амортано) — промах, непопадание, минование цели. В широком (предельном) понимании действие, не направленное, не устремленное, в конечном итоге, ко Христу, оборачивается в результате (часто, конечно, весьма отдаленном, не сразу усматриваемом) промахом, минованием смысла, замысла культуры и удовлетворением ложными, преходящими, пустыми целями. И наука со всем корпусом добытых ею сведений, громкими достижениями, успешными методами и приемами может тоже оказаться таким промахом, минованием, устремлением к ложной цели. Поэтому психология, назвавшая себя *нравственной,* вправе сделать еще один, вполне естественный в нашей культуре шаг и определить себя как психологию христиански ориентированную, или *христианскую психологию.* Если первая полагает нравственное развитие как норму, как путеводную нить, главное условие здоровья личности, если она видит другого человека как самоценность, то вторая добавляет к этому представление о конечных, абсолютных основаниях такого выбора, придавая другому не только общечеловеческую, но сакральную ценность, рассматривая его как образ и подобие Божее, а нормальное развитие как реальный (со всеми возможными отступлениями и трудностями) опыт подражания Христу.

Направление это, как уже отмечалось, делает у нас самые начальные шаги. Так, лишь с 90-х годов стали организовываться семинары, конференции, связанные с обсуждением проблематики христианской психологии[2], появляться отдельные публикации (в области вопросов образования, воспитания, психотерапии это

[1] Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. М., С. 314.

[2] На факультете психологии Московского университета первый семинар, посвященный психологии и религии, состоялся в апреле 1990 года. В дальнейшем он стал регулярным, получив наименование Семинара по христианской антропологии, и проходил до 1994 года под руководством автора этих строк и двух бывших воспитанников факультета психологии, ставших затем священниками - кандидата психологических наук о. Бориса Ничипорова и о. Иоанна Вавилова.

некоторые работы Ф.Е Василкжа, А.В. Гнездилова, о. Бориса Ничипорова, Е.Н. Проценко, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, Т.А. Флоренской, о. Владимира Цветкова, Л.Ф. Шеховцовой и др., в области обшей теории — С.Л. Воробьева, О.И. Генисаретского, В.А. Махнача, В.Л. Мусхелишвили, В.И. Слободчикова, Б.С. Братуся и др.). В качестве весьма еще, конечно, предварительного итога этого периода можно рассматривать выход первого в России учебного пособия для вузов по христианской психологии[1].

* * *

Итак, после марксистской и западнической, мы бегло и схематично рассмотрели еще три линии, три оформляющихся сейчас варианта отношения к проблеме человека в психологии. Первая — это *гуманитарная линия,* которая, по сути, не имеет конкретно-ценностной точки опоры вне себя самой, но призвана расширить возможности сознания, высвободить место для духовного роста, для саморазвития, самоактуализации личности и т.п. Вторая — это линия *нравственной психологии,* которая не замыкает личность в самой себе, не делает ее существующей ради себя самой и своего роста, но дает определенное, вне ее обнаруживаемое понимание сущности человеческого развития, для достижения которой она является необходимым и уникальным инструментом. Наконец, линия *христианской психологии* как признание абсолютных оснований нравственности, как сознательная ориентация на христианский образ человека, христианское понимание его сущности и рассмотрение развития как пути следования, приближения к этому образу.

Эти три подхода мы хотели представить не как враждебные, противостоящие друг другу, но как, в известном плане, преемственные, где последующий не уничтожает предыдущего, но вбирает в себя, добавляя новый принцип рассмотрения, возвышая, достраивая до целого образа человека. Рост этот имеет свои законы и сроки, что касается нынешнего времени, то согласимся с высказыванием А.И. Солженицына: «Но нам сегодня больше-то всего нужно подняться сперва на нравственный уровень, а потом на религиозный».

[1] Начала христианской психологии. М.: Наука, 199S. Ответственный редактор Б.С. Братусь, научный редактор СЛ. Воробьев. Авторский коллектив: Б.С. Братусь, В.Л. Воейков, СЛ. Воробьев, Р.Б. Введенский, В.И. Слободчиков, о. Анджей Белат (Польша), Н.Л. Мусхелишвили, А.С. Салаври (Германия), Т.А. Флоренская, Е.Н. Проценко. См. также материалы обсуждения данного учебного пособия: Зов бытия. Философско-психологический семинар (Памяти Г.И.Челпанова). — Человек, 1996, №№ 2, 3.

IX. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУШИ

Предложенное выше понимание христианской психологии может натолкнуться на возражение, что ее постулирование несовместимо с наукой, что введение религиозного понимания души приведет к потере психологией ее самостоятельности, она может раствориться, предстанет частью теологии и т.п. Таковое, действительно, возможно, если мы с самого начала не учтем, не зафиксируем некоторых фундаментальных обстоятельств и разграничений.

Прежде всего согласимся, что у психологии и религии существенно разные направления, языки выражения и понимания. Научная психология изучает психику как особый аппарат, служащий человеку в его ориентировке в мире (по П.Я. Гальперину) или отражении действительности (по А.Н. Леонтьеву) и т.п. Даже говоря о личности с позиций психологии, мы, как было показано выше, не можем ее рядополагать через запятую с человеком, она есть психологический инструмент обретения человеком самого себя. Психика — это еще не весь человек, или — другими словами — человек есть нечто большее, нежели его психика. У религии, точнее богословия, теологии, иной главный предмет — не психика в человеке, а человек в Боге, его целостности, предельном смысле, назначении, исходе. Психика, личность соотносимы, масштабны человеку, человек соотносим Богу, являясь Его образом и подобием (или в светском, философском понимании — соотносим с человечеством, представляя собой его образ и подобие). Уже из одного этого разделения вытекает неправомерность переноса методов из одной области в другую, и следует сразу успокоить сторонников чистоты научной психологии: ни один серьезный христианский психолог не может прямо переносить методы богословия в научную психологию, равно как кощунственно прямо переносить психологические методы на религиозные предметы. Разумеется, такие попытки делались и будут делаться, но это будут не более чем «размышления священника о психологии» или «размышления психолога о религии». Вещь, конечно, интересная и полезная, расширяющая кругозор, но вряд ли способная серьезно повлиять как на психологию, так и на богословие.

Теперь о положении, разделяемом достаточно многими: психология как область научного знания строится на объективных доказательствах, а религия в таковых вовсе не нуждается. Между тем, и то, и другое, суть формы человеческого опыта, сознания, понимания действительности, хотя, разумеется, фундаменты различны: в одном случае это анализируемый по отдельным параметрам факт, в другом — целостное событие, явление, изменение, преображение; в одном — как можно более отстраненная, проводимая желательно с помощью приборов, специального инструментария фиксация, протоколирование, препарирование происходящего, в другом — живое свидетельствование, событийность, включенность в происходящее; в одном — необходимость повторения, статистики, воспроизведения, в другом — единичность, уникальность, неповторимость. Наивно, однако, думать, что первое гарантировано объективно, а второе сугубо субъективно. И в том, и в другом случае есть свои законы и внутренняя логика, причем достаточно жесткая, как писал один мыслитель, если законы материальной природы железные, то законы духа алмазные.

Вообще, следует, на наш взгляд, прислушаться к прозвучавшему недавно предложению В.П. Зинченко «признать объективность психического, субъективного, выступает ли оно в своей внешней или внутренней форме, наблюдаемо оно или нет»[1]. Это смелый и верный шаг. Смысловые поля, пространства, будь то поэзии, науки или религии суть объективны, хоть и далеко не всеми видимы. Разумеется, сами по себе отдельные доказательства, свидетельства, скажем религиозного опыта или поэтического миропонимания неизбежно субъективны, пристрастны, но свидетельствуют, доказывают они нечто *объективное,* вне отдельного человека существующее. Поэт, по Бродскому, — орудие языка, а не язык — орудие поэта. Или — поле науки, например, психологии не порождено свидетельствованиями, доказательствами Левина, Выготского или Леонтьева, но выражено через них. И потому умирает, уходит ученый, а не наука. Ушел делатель, поле запустело, но оно есть, оно ждет другого. Наука свершается в любом месте, где есть люди, способные войти в ее поле, освоить, преумножить его и тогда через них, через их усилие и подвиг оно обнаруживает, являет себя. Отсюда редкий, но абсолютно реальный феномен «невидимых колледжей», когда разные, отстоящие друг от друга во времени и пространстве ученые тем не менее оказываются на деле тесными сотрудниками, словно находящимися, работающими в деятельном и непос-

[1] Зинченко В.П. Проблема внешнего и внутреннего и становление образа себя и мира. — В сб.: Первые чтения памяти В.В.Давыдова. Рига—Москва, 1999. С. 22. См. также Братусь Б.С. Идеальное как порождение идеального (заметки к докладу В.П. Зинченко). Там же. С. 37—45. Братусь Б.С. Деятельность и вершинные уровни опосредствования. — Психологический журнал, 1999, № 4.

редственном контакте, под крышей одного учреждения. Отсюда и обилие вполне зримых, видимых колледжей (институтов, университетов, академий), омертвелых, находящихся вне пространства науки, представленных в материальном плане, но не обеспеченных идеально.

Еще одна проблема, требующая хотя бы беглого упоминания, это проблема *детерминизма*. Долгое время господствовавшая в психологии естественнонаучная парадигма исходит из всеобщей обусловленности психики реалиями объективного материального мира и распространяет причинно-следственные закономерности на все без исключения психические явления. Но адекватно ли это для понимания человеческой индивидуальности, станет ли она вообще таковой, если будет строго и всецело подчиняться принципу всеобщей обусловленности материальным миром и действовать только на основе причинно-следственных закономерностей. Чем тогда она будет отличаться от индивидуальности животного, для которого, словами В.С. Соловьева, «действительность есть то, что его делает», тогда как для человека, наряду с этой обусловленностью (вовсе не исключая и не умаляя ее) есть и иная форма движения, ведущая к самодетерминации, свободе, преодолению действительности и, тем самым, естественно-причинной обусловленности.

Таким образом, естественнонаучный детерминизм ограничен, приложим к определенному классу объектов и процессов, которые можно представить как без остатка подчиненных, обусловленных внешним миром. Там же, где нельзя без видимой редукции устранить трансцендирующую природу, естественнонаучный детерминизм ограничен, неэффективен и вместо научной истины будет воспроизводить ее упрощенную видимость. Отсюда задача поиска иных форм детерминации, иных форм и принципов обусловленности явлений. Вполне согласимся поэтому с В.В. Давыдовым, который писал, что «нет оснований полагать, что всякий детерминизм носит «причинно-следственный характер» и связан с естественнонаучной парадигмой в психологии... Имеется еще «целевой детерминизм», связанный с человеческой деятельностью, но это уже внеестественная парадигма»[1].

[1] Давыдов В.В. Исчерпала ли себя естественнонаучная парадигма в психологии? — Вопросы психологии, 1997, № 3, с. 128. Как печально, что при последнем редактировании этой рукописи автор вынужден заменить слово «пишет» на слово «писал». В марте 1998 года В.В. Давыдова не стало. Наша последняя встреча (не хочется ее называть случайной, хочется назвать счастливой, дарованной) состоялась за две недели до кончины. Мы с В.В. Умрихиным встретили его выходящим из Психологического института на Моховой, обрадовались, взялись провожать до метро, до станции «Боровицкая». Это метров пятьсот, не более. Но шли мы часа два. Говорили о самом разном, сразу о многом. Василий Васильевич был явно в ударе, на подъеме, через каждые несколько шагов он останавливался посреди тротуара, громким, ясным, привыкшим к большим аудиториям голосом он подробно развивал свою точку зрения, спорил, горячился, с научных тем переходил на житейское, вспоминал, шутил, заразительно смеялся. Публика недовольно озиралась, огибая на тротуаре странную троицу. Странную, но в то же время совершенно классическую для этого места: Московский университет, заслуженный профессор и сопровождающие его коллеги, ассистенты. Последняя наша тема была о душе. Я сказал, что собираюсь устроить семинар на эту тему. В.В. ответил: «Ну что же, звони, приду...».

Семинар на тему «Проблема души в психологии» состоялся 8 апреля 1998 года и был посвящен памяти выдающегося российского психолога, чей дух незримо, но явственно присутствовал, ощущался всеми, кто в этот вечер заполнил до отказа одну из самых больших аудиторий факультета психологии Московского университета.

Итак, возвращаясь к вопросу о психологии и религии (особенно, если понимать первую в естественнонаучном ключе), необходимо констатировать, что мы имеем дело с разными предметами постижения, разными формами их интерпретации и, тем самым, произведя необходимые уточнения и оговорки, оказываемся, казалось бы, на той же позиции, что и сторонники резкого разведения двух областей, невозможности установления между ними никакой связи.

Однако точная констатация оснований различия отнюдь не снимает вопрос о формах соотнесения. Там, где стало привычным заканчивать должно на самом деле, только начинать; всякое прибытие — пункт отправления, как говаривали в старину. Мы вполне научились разводить (и это большое достижение психологической науки) понятия «индивид» и «личность», но не для того, чтобы поставить здесь точку, не ради констатации самого этого различия, качественного разрыва, а чтобы идти дальше и найти верные соотношения этих уровней. То же и о разведении «психического» и «личностного» по А.Н.Леонтьеву, или предлагаемого нами выше варианта разведения понятий «личность» и «человек». Остается только удивляться, насколько упорными были усилия нашего времени по разделению, разведению науки и религии и насколько слабыми, или разрозненными попытки понять их соотнесения и сопряжение. Современному уху покажутся диссонирующими, странными, анахроничными слова основателя отечественной науки М.В. Ломоносова о том, что «наука и религия суть родные сестры, ...они никогда между собой в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания собственного мудрования на них вражду всклепнет. Напротив, наука и Вера взаимно дополняют и подкрепляют друг друга. А благоразумные и добрые люди должны рассматривать нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого между нами междоусобия»[1]. Или слова одного из наиболее авторитетных биологов прошлого века Карла фон Бэра, который считал, что задачей ученого-натуралиста является познание средств, «путем которых Творение

[1] Ломоносов М.В. Сочинения. — М.: Наука, 1961, С. 496.

осуществлялось и осуществляется теперь, ибо оно, конечно, продолжается и в наше время. Истинный объект естествознания — история Творения, все его детали, независимо от того, велики они или малы»[1]. И ниже: «Естествознание, приходится иногда слышать, разрушает веру. Как это трусливо и мелко! Способность к мышлению и вера столь же врождены человеку как рука и нога... Вера есть особое преимущество человека перед животными, у которых нельзя не подметить некоторых мыслительных способностей. Неужели же человек не сумеет сохранить своего преимущества перед ними? Только от этого зависит, будет ли каждая его душевная сила направлена на ту область, для которой она предназначена. Но не стоит мешать мысли идти туда, куда она стремится. Если она идет ошибочным путем, то заблуждение не может долго оставаться скрытым»[2]. И, наконец, трудно пройти мимо слов гения нашего века — В.И. Вернадского: «Не говоря уже о неизбежном и постоянно наблюдающемся питании науки идеями и понятиями, возникшими как в области религии, так и в области философии, — питании, требующем одновременной работы в этих различных областях сознания, необходимо обратить внимание еще и на обратный процесс, проходящий через всю духовную историю человечества. Рост науки неизбежно вызывает, в свою очередь, необычайное расширение границ философского и религиозного сознания человеческого духа; религия и философия, восприняв достигнутые научным мировоззрением данные, все дальше и дальше расширяют глубокие тайники человеческого сознания»[3].

Возможно ли в психологии приближение к такого рода восприятию, установлению не только барьеров, разведения, настороженности и прямой вражды, но и путей взаимного соотнесения, питания, гармонии?

Чтобы попытаться ответить на это, вернемся к исходному и для психологии и для религии понятию — понятию *души*. Отношение психологии к этому понятию весьма своеобразно, ведь это единственная, наверное, наука, само рождение, арсенал и достижения которой связаны с доказательством того, что то, ради чего она замышлялась — psyche, душа человеческая, — не существует вовсе. Уже в 1916 году С.Л. Франк констатировал: «Мы не стоим перед фактом смены одних учений о душе другими (по содержанию и характеру), а перед фактом совершенного устранения учений о душе... Прекрасное обозначение «психология» — учение о душе — было

[1] Бэр К.Э. Избранные работы. Л.: Прибой, 1926. С. 102.

[2] Бэр К.Э. Там же. С. 120-121.

[3] Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Мысль, 1991 С 213-214.

просто незаконно похищено и использовано как титул для совсем иной научной области»[1].

И все же судьба души в психологии не является беспросветно мрачной и окончательно решенной. Чтобы убедиться в этом, следует обратить внимание на то, что само представление о душе отнюдь не однородно. Оно по крайней мере двояко (вспомним Ф.И. Тютчева, который писал, что душа бьется «на пороге как бы двойного бытия», что она «жилица двух миров»). Действительно, с одной стороны она воспринимается как живое вместилище, орган переживаний, многообразных душевных проявлений. Мы говорим — душа болит, поет, ликует, страдает и т.п. Она имеет представляемые параметры, модальности, может определяться как широкая или узкая, высокая или низкая, горячая или холодная. Это мир внешней стороны души, душевных явлений, проявлений. Но есть и внутренняя, сокрытая, сокровенная сторона души, понимаемая обычно религиозно — как некая вечная, бессмертная энергия и субстанция, которая может отпечатываться, проявляться в тех или иных внешних параметрах, но отнюдь к ним не сводима. Эта душа во втором понимании[2]. Но — следует особо подчеркнуть — это не две разных души, а разные аспекты, ипостаси, стороны (внешняя и внутренняя) единой души.

Исходя из этого, как нам кажется, принципиально важного различения, мы можем теперь по-иному посмотреть на судьбу души в психологии. Оказывается тогда, что, несмотря на все громкие декларации, изгнание самого термина, душа из психологии никогда не уходила полностью. В своем первом значении, например, под именем «переживаний», «эмоций», «чувств», «состояний» и т.п., она всегда оставалась в поле внимания психологов. Возьмем только проблему переживаний в отечественной традиции: Л.С. Выготский не раз подчеркивал их важность, С.Л. Рубинштейн вводил переживания в качестве важнейшей способности личности, Ф.В. Басин считал, что «значимые переживания» есть подлинный предмет психологии, оригинальная трактовка переживаний дана Ф.Е. Василюком и др.

Иное дело — высшие проявления души, душа во втором понимании, дух, который — и это надо еще раз сказать твердо — был и будет оставаться вне досягания психологическими методами. Интересно, что необходимость такого разграничения применительно к научной психологии в начале века специально подчеркивалась со стороны церкви. На торжестве официального открытия (23 марта 1914 года по ст. стилю) первого в России Психологического ин-

[1] Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб.: Наука, 1995, С. 422—423.

[2] Следует заметить, что материалистическое сознание может дать и другое толкование второму понимаю души, например, нравственно-философское.

статута при Московском университете (ныне при **РАО)** епископ Серпуховский Анастасий сказал в своей речи: «Возможно точное изучение душевных явлений, вообще говоря, можно только приветствовать. Но, стремясь расширить круг психологических знаний, нельзя забывать о естественных границах познания души вообще и при помощи экспериментального метода, в частности. Точному определению и измерению может подвергаться лишь, так сказать, внешняя сторона души, которая обращена к материальному миру... Но можно ли исследовать путем эксперимента внутреннюю сущность души, можно ли измерить ее высшие проявления? Не к положительным, но к самым превратным результатам привели бы подобные попытки»[1]. Необходимость признания данного разграничения может породить разные выводы. Один, с которого, собственно, и началась научная психология, состоит в том, что второе понимание души, а чтобы не путаться в разных пониманиях, то душа в целом должна быть отброшена, удалена из восприятия ученых, чтобы не мешать строгому естественнонаучному познанию. Дальнейшую логику этого пути вполне иллюстрирует история психологии XX века, в которой все хорошо и строго кроме одного — живой человек выпал (вспомним реплику Л.С.Выготского, характеризующую психологию — «человека забыли»).

Не лишне, наверное, для объективности картины заметить, что весьма сходный по внутренней структуре, схеме взгляд присущ не только ученым, но и тем, от кого они хотят отмежеваться — представителям религии, богословам. Те так же нередко отрицают саму возможность сопряжения научной психологии и христианства. И вообще, — считают некоторые из них, — никакой христианской психологии и психотерапии строить не надо. Они уже давно созданы — это аскетика, богословие, учение святых отцов церкви, а христианским психологом и врачевателем душ (психотерапевтом) является, точнее, должен быть любой священник. Что касается психологии и психотерапии светской, научной, то они, лишенные благодати и церковного попечения, совершают на деле служение тьме, только уводя людей от пути спасения. Изложенная (разумеется, огрубленно) точка зрения весьма распространена в церковных кругах. Позицию полного разведения, сжигания мостов разделяют, как мы знаем, и большинство отечественных ученых и практиков. Разумеется, они не называют свое служение делами тьмы, а — напротив — тьму, предрассудки видят в церковности. Разница в оценке — где лицо, а где изнанка, но общая суть — разведение участков остается.

Но возможно и другое решение, которое должно исходить, на наш взгляд, из того, что внешняя сторона не может быть полноценно понята, изучена, коррегируема, воспитуема вне ориентации, учета ее сущностной связи со стороной внутренней, с вершинными проявлениями, духовными устремлениями. Или — иными словами — *двойное бытие души не есть бытие, расколотое на две независимые части, и отделяя в исследовательских целях один мир от другого, мы должны одновременно отдавать себе отчет, что лишь в их постоянном и драматическом (подчас трагическом) соотнесении, стремлении к труднодостигаемому единству и состоит полнота человеческой жизни, ее сокровенный смысл.*

[1] Речи и приветствия в честь открытия Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Репринт Психологического института РАО. — М., 1994. С. 2.

Но можно ли реально установить эту связь, возможно ли вообще мерное соотнести с безмерным?

На самом деле это соотнесение происходит так или иначе в каждом человеке как существе конечно-бесконечном и психология в этом плане должна просто не отделяться от полноценного образа человека, его антиномичной реальности. Другое дело, что в XX веке сам этот образ стал усеченным, частичным, лишенным метафизического измерения и высоты. Строго говоря, душу изъяли не из психологии как таковой, а из образа человека, которому психология должна соответствовать, на который должна ориентироваться. Им стал «человек физиологический», «человек рефлекторный», «человек поведенческий», «человек подсознательный» и т.п. Теперь речь лишь о том, что психологии пристало служить, ориентироваться на полного, целостного человека, имеющего не только тело, сложность сознания, многообразие переживаний, внешнюю сторону души, но и ее внутреннюю сторону и высшие проявления (дух).

Задумаемся еще раз, что было бы, если бы психология остановилась на разделении индивида и личности и не стремилась бы к установлению взаимоотношений того и другого? Очевидно, это была бы редукция высшего к низшему, с одной стороны, и выспренная идеализация личности — с другой, а в результате — обеднение реальности, искажение истины. Рассмотрение выделенных сторон души только порознь, вне тонкой живоносной связи и зависимости — отнюдь не меньшая ошибка и в научно-методологическом плане и в плане конкретно-прикладном[1].

При этом нас не должно смущать, что психологическое приходится соотносить с непсихологическим уровнем. Мы уже не раз убеждались, что любая развитая психологическая концепция соотносит, связывает себя с определенным не психологическим, а уже философским воззрением на человека. Что, например, собственно

[1] В исследовании Е.Н. Проценко было показано, например, как меняются образ, методы, последствия психотерапии алкоголизма, если пациент начинает приниматься, рассматриваться как целостное, обладающее духовной стороной творение (см. Проценко Е.Н. Психотерапия как образ жизни. - В кн.: Начала христианской психологии. М., Наука, 1995.)

психологического в понимании человека как меры всех вещей? Однако вне этого нельзя понять западной гуманистической психологии, ее теории и практики. Точно так же рассмотрение человека как «совокупности всех общественных отношений» — отнюдь не психологическая категория, но именно она определяла перспективу столь многих исследований в советской психологии. Занятие психологией человека необходимо подразумевает уточнение — *какого* человека, как именно понимаемого человека, т.е. соотнесение с уже непсихологическими масштабом и категориями. С другой стороны этот непсихологический уровень нуждается в психологическом обосновании, соотнесении, сопряжении с психологией. Вопрос, должный быть обращенным в этом случае к психологии, был недавно очень точно сформулирован В.И. Слободчиковым: «Как возможен человек в свете психологических представлений о нем»[1]. Иными словами — соответствуют ли наши психологические суждения, выводы тем общефилософским воззрениям, которые мы разделяем.

А чтобы не произошла подмена, смешение психологического, и скажем, теологического пониманий, необходимо помнить о простом, но, тем не менее, фундаментально важном положении: психическое (восприятие, память, мышление, личность и т.п.) существует, действует не себя самого ради, а как аппарат, инструмент достижения человеческой сути. Этика, философия, богословие как адекватные способы, неслучайные, выверенные опытом языки выражения таковой сути, предельных смыслов бытия составляют таким образом важнейшее ориентирующее, рабочее условие научных и прикладных разработок, ибо последние приобретают тогда масштаб и смысл в культуре, а первые — психологическое соотнесение и почву. Еще раз: душа во втором (духовном) понимании не входит, не вмещается в психологию, равно как не растворяет психологию в себе; религиозно-философский и конкретно-психологический уровни несводимы один к другому, не подменяемы друг другом, но их взаимное признание, установление связи, соотнесение — условие и форма их адекватного понимания. Религия отражает *вертикальную* устремленность человека к высшему началу и в этом плане отвечает его насущной потребности поиска смысла жизни, неуничтожимого, неустранимого фактом физической смерти. Научная психология занята, по преимуществу, *горизонтальной* плоскостью — человеком как конкретным деятелем во времени и пространстве. Религия дает предельные ответы на вопросы «в чем смысл?», «ради чего?». Научная психология стремиться ответить на «как?», «для чего?», «каковы механизмы?». Сопряжение вертикали и горизонтали (при

[1] Слободчиков В.И. Психология человека только начинает складываться. — Человек, 1998, № 2, с. 52. См. также Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. М.: Школа-Пресс, 1995.

всей его реальной сложности) здесь более чем необходимо — оно *неизбежно,* ибо реальное движение жизни подразумевает, изнутри требует, жаждет осознания ее смысла, а смысл подразумевает реализацию, т.е. осуществленное движение в конкретном времени и пространстве.

Другое дело — в каких формах, на каком уровне произошло это сопряжение, ограничена ли вертикаль данного человека эгоцентрическими или группоцентрическими смыслами или имеет иную, более высокую отнесенность. Психологу это важно знать отнюдь не из морализаторских соображений, а потому, что это существенная характеристика личности, показателя уровня соединения, цельности или — напротив — раскола, трещины, ущерба психического здоровья[1]. Собственно, любая психотерапия направлена на ликвидацию какого-то раскола. Нетрудно согласиться, что психоанализ, гештальт-терапия используются для преодоления раскола ума и сердца, а поведенческая терапия — ума и воли[2]. Последствия раскола смысла и бытия были ярко показаны в психологии В. Франклом, что привело к созданию логотерапии. Христианская психотерапия также направлена на устранение раскола, а именно, на наш взгляд, раскола между выделенными сторонами души — внутренней и внешней, который может, конечно, проявиться в разной форме как осознаваемой, так и неосознаваемой[3], но с неизбежностью влечет за собой серьезные последствия для человека, его судьбы и спасения.

Итак, в психологию должна вернуться не внешняя сторона души (она и не уходила из нее — просто пряталась под другими именами), а ее внутренняя сторона, ее высшие проявления, но не в качестве объекта изучения, а в качестве объекта соотнесения и сопряжения, в качестве поля смыслообразования, в качестве ориентира движения. Так возникает уже обозначенная выше линия христианской психологии как сознательная ориентация на христианский образ человека, христианское понимание его сущности и рассмотрение развития как пути следования, приближения к этому образу (со всеми возможными здесь реальными сложностями, отклонениями, путями коррекции и воспитания).

[1] См. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. Его же. Психология. Нравственность. Культура. М., 1994.

[2] См. Шеховцова Л.Ф. III международная конференция «Психология и христианство: пути интеграции». — Вопросы психологии, 1997, № 3.

[3] Вот один из классических примеров осознания, явленный уже много веков назад Марком Аврелием: «О, душа! Когда же, наконец, станешь ты доброй, простой и верной самой себе?... Когда же не плоть, а ты будешь глава в человеке? Пойми же, наконец, что в тебе есть божественное, стоящее выше страстей, малодушия и суеты, от которых тебя передергивает, как балаганную куклу». Что касается форм неосознаваемых, то проявлений их множество — от пьянства до агрессии, вещизма, тоталитарных устремлений и т.п.

Нередок вопрос: а как же быть с иными конфессиями, не является ли провозглашение христианской психологии некоторой экспансией, умалением других возможных соотношений между психологией и религией. Совершенно понятно, однако, что речь сейчас идет только о христианской культуре и формах науки, ею порожденных, тогда как культуры, выросшие из других корней (мусульманская, индуистская и др.) ориентированы на иные образы и способы их осуществления. Точки пересечения здесь вполне возможны и, конечно, весьма значимы, но следует помнить, что смысл движения, развития определяется сквозной, проходящей через эти точки линией, вектором, подобно тому как дело не в железнодорожных узлах, что ты минуешь по ходу пути, а в цели путешествия, местности, в которую стремишься. Да, ты можешь на этих станциях пересечься с другими, обогатиться от этой встречи, но если сядешь с ними в другой поезд, всерьез примешь другое направление, другую судьбу, то окажешься и в совершенно ином пункте назначения, качественно иной душевно-духовной местности с присущими только ей законами, возможностями и ограничениями. Мы не вправе давать здесь оценку этим местностям, следует лишь знать, отдавать себе отчет, какая является искомой, влекущей, родной для твоей культуры, к какой тяготеет твоя душа (в двух ее пониманиях) и история.

Надо сказать, что поднятые вопросы, нередко возникающие острые дискуссии вокруг них важны не только для становления христианской ориентации в психологии, но и в целом для всей нашей науки. Проблемы духовности, соотношения быта и бытия, службы и служения затрагивают многих и привлекают в последнее время все более пристальное внимание психологов, в том числе весьма далеких от религиозной ориентации. Достаточно назвать, например, недавно вышедшие книги В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунова (Человек развивающийся. М.: Тривола, 1991), В.Д. Шадрикова (Духовные потребности. М.: Магистр, 1996), В.А. Пономаренко (Психология духовности профессионала. М.: Гос. науч.-исслед. испыт. ин-т МО РФ, 1997) и др. Подводя некоторый итог работ в этой области, В.В. Знаков пишет, что в проблеме духовности верующие и неверующие ученые решительным образом расходятся лишь в одном пункте — в вопросе о первоисточнике духовного (Бог или человек). В остальном труды «удивительно сходны: основным предметом внимания их авторов являются особенности внутреннего мира человека, его самосознания и субъективных путей восхождения к духовным вершинам бытия. За двухтысячелетнюю историю существования христианства лучшие умы человечества не смогли представить убедительных доказательств ни существования Бога, ни Его отсутствия. Одни люди верят в это, другие не верят. Вследствие этого единственный конструктивный путь изучения проблемы духовности человека — не конфронтация, а взаимное дополнение результатов поисков и размышлений»[1].

В связи с этим важно еще раз подчеркнуть, что христианская психология вовсе не отрицает возможности иных подходов, не относится к ним пренебрежительно. Прежняя психология и достижения не перечеркиваются (это значило бы, в частности, перечеркивание самих биографий сегодняшних христианских психологов, забвение их научных учителей и прежних трудов), но входят в иные системные отношения, приводятся в соответствие, соотнесение, сопряжение с образом человека, главным отличием и ценностью которого является обладание бессмертной душой. Христианская ориентация, вообще, не против исследования, измерения, числа, а лишь на страже и против того, что может исказить душу, ибо сказано в Евангелии — «какая польза человеку, что он приобретет весь мир, а душе своей повредит» и хоть слова эти, по преимуществу, о душе во втором (религиозном) понимании, но разве не относятся они в полной мере и к нашей профессии, ибо какая польза от психологических исследований и воздействий, если они не устремлены ко благу живой человеческой души.

[1] Знаков В.В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры. — Вопросы психологии, 1998, № 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внимательный читатель легко обнаружит пробелы и недочеты этой книги: неравномерность изложения, отсутствие библиографических выкладок, пропуск ряда имен и направлений. Но обратим внимание на подзаголовок — «конспективное рассмотрение». Конспект всегда субъективен, выборочен. Его задача — уловить, ухватить для себя общий смысл воспринимаемого, зафиксировать его основные вехи и повороты, будь то содержание лекции, книги, или анализ твоего собственного профессионального пути, или даже рассмотрение части истории, которая хоть и состоялась без тебя, но ты обозреваешь, восстанавливаешь ее своим пристрастным взглядом и живым к ней отношением. Понятно при этом, что другой расставил бы иные акценты и, быть может, равнодушно прошел бы мимо того, что так задело тебя.

Эта субъективность и личное отношение могут показаться излишними, когда речь заходит о науке, ее прошлом и перспективах. Однако не будем обманывать друг друга: науки о человеке и психология в их числе есть собрание точек зрения отдельных ученых и школ, и взгляды эти, следовательно, в высокой степени пристрастны. То, что они согласуются с определенными исследованиями, материалами и фактами, не есть однозначное подтверждение их объективности, ибо те же самые материалы и факты могут трактоваться другими учеными совсем по-иному, подтверждать отличные мнения и позиции. Объективен факт, а не взгляд на него, через одну точку, через один факт можно провести бесчисленное количество объяснительных линий; мир один, а моделей и объяснений его множество.

Поэтому не будем умалять значение субъективности. Важна ее глубина, искренность, сосредоточенность, систематичность. Наука, — по выражению Эйнштейна, — есть драма идей (т.е. представлений, умопостроений). Добавим — и драма людей. Ученый всего лишь человек, тратящий свою жизнь на безумную попытку понять, исследовать, разъять действительность с помощью инструментария, достижений, конструкций своей науки. И как человеческая жизнь имеет периоды детства, юности, зрелости, увядания, наконец, кончины, так и построения науки зарождаются, иногда победно восходят, кажется, все ясно и четко объясняют, но потом блекнут, осыпаются и уходят в небытие, архив, начинают относиться к действительности как черепок из музея к тому горшку, в котором тысячу лет назад готовили похлебку для семьи. Тем более поразительно и значимо, что при определенных условиях субъективность ученых (назовем ее профессиональной или систематической) способна выразить, совпасть, срезонировать с запросом, зовом культуры и бытия общества, стать отражением духа времени или — того больше — участвовать в формировании этого духа, и, как буря начинается с поземки, едва заметного столбика завихрений, так и движение культуры и общества начинается порой со слов, умственных построений и предположений, которые современники не удостаивают особым вниманием или не замечают вовсе. И Сталин был рядовым мальчиком, и Гитлер — ребенком, равно как появление теории превосходства одних наций над другими или коммунистической утопии казалось когда-то недостойным серьезной критики и внимания. Ученый человек Иван Карамазов произносит слова, а реализует их Смердяков. Последний, в этом плане, всегда вторичен, ему нужна *идея* первого, превращаемая им в идеологию. Без нее он просто злодей, а с ней — глядишь — герой, мессия, борец за справедливость. Отсюда ответственность ученого человека за произнесенные им слова, ответственность за качество, глубину и честность своей субъективности, за свой профессиональный выбор, ведь кто знает, чем он обернется в будущем, которое мы закладываем, которое уже началось сегодня...

* * *

Профессиональная субъективность (иногда говорят резче — профессиональный идиотизм) несет, как показывает жизнь ученых, нередкую опасность погружения в мелочи, детали, частности, увлечение методом, при забвении того, чему он призван был, в конечном итоге, служить, уход в мирок своей науки, отделенный от мира большого. Почувствовав эту опасность, автор и предпринял попытку понять для себя самого судьбу отечественной

психологии не как отдельную, в себе замкнутую, а на фоне большого мира, на фоне истории XX века, а затем решился опубликовать краткий конспект этого понимания, отчетливо сознавая его недостатки и спорность.

Несмотря на скромный объем, книга эта делалась долго и трудно, с большими перерывами где-то с 1992 по 1998 годы. Автор с благодарностью вспоминает В.В. Лучкова и Д. Мерфи, чье участие в трудные для него годы стимулировало само начало работы. За время написания изменялись взгляды автора, что приводило к необходимости исправлений, вставок, добавлений, а иногда полной замены прежних текстов новыми. Отсюда некоторая мозаичность, лоскутность книги, вполне, впрочем, отражающая как время ее написания, так и выбранный жанр изложения — конспективный очерк.

Что касается формальных выводов, ожидающихся обычно в заключении, то предоставим проницательному читателю возможность для самостоятельных размышлений. Отметим лишь, что помимо утверждения гипотезы о значении роли образа человека в формировании и смене психологических эпох и концепций, представленный материал позволяет, на наш взгляд, увидеть, что в истории психологии свершается как бы некий круг и мы возвращаемся (на новом уже, конечно, уровне — измененные и обогащенные опытом, пусть во многом и горьким) к месту, откуда когда-то вышли. Психология начала с разрыва с философией, этикой, теологией, с потери понятия души, с постулата естественнонаучного подхода к человеку как к объекту, вещи среди вещей, с редукции духа к материи, сугубой объектности, телесности. Душа и дух надолго исчезли из поля внимания, вернее, стали рассматриваться производными, вторичными от материального (телесного, вещественного) мира. «Производные» при этом обрисовывались столь непохожими на свои прежние обличия, что, разумеется, были и поименованы по-другому: потребности, влечения, комплексы и др. Сейчас идет постепенно обозначающийся поворот — если не к душе в ее полном понимании, то, по крайней мере, к душевности, к душевным проявлениям человека (душа в принятом нами выше первом значении) и опорой, адекватным зеркалом здесь становится *гуманитарный подход.* Мир человеческих чувств, переживаний все более перемещается в центр интереса психологов. Изменились и слова науки. В психологию ныне впущены такие долго ею игнорировавшиеся понятия как милосердие, сострадание, любовь, надежда и т.п. Следующий предполагаемый шаг — это соотношение с предельными вопросами о сущности человека, о смысле и назначении его жизни. Здесь психология спустя более чем столетие вновь встречается, соотносится с философией, с этикой и при определенных условиях этой встречи

может стать *нравственно ориентированной*. Рассмотрение оснований нравственности ведет в свою очередь к вопросам веры, к необходимости соотнесения с понятием души не только в ее первом, но и втором (религиозном) понимании. На этом этапе появляется возможность *христиански ориентированной* психологии как соответствующей, отвечающей задачам и смыслу нашей многовековой культуры.

И последнее — стоит ли так настойчиво возгонять психологию, пытаясь соединить земное и возвышенное, неужели задачи внутри самой психологии уже исчерпаны? Разумеется, нет. Задач этих бесконечное множество, каждая достойна усилий и вовсе не обязательно требует соотнесения с родовой человеческой сущностью, нравственностью или бессмертной душой. С этого убеждения психология, как мы знаем, собственно и началась. Процитируем еще раз слова основателя отечественной психологии Г.И. Челпанова, написанные в 1888 году: «Хотя психология, как обыкновенно принято определять ее, и есть наука о душе, но мы можем приняться за изучение ее «без души», т.е. без метафизических предположений о сущности, непротяженности ее и можем в этом держаться примера исследователей в области физики».

Продолжим, однако, аналогию с физикой. До определенного времени последняя под одобрение общественности могла увлекаться все новыми и новыми открытиями, отстраняя возможные и далекие последствия, связь с образом человека, культурой, самим существованием человечества. Но после изобретения атомной бомбы и опыта ее применения на живых людях положение существенно изменилось: перед физиками стала проблема осознания смысла и последствий их работы (судьба Р. Опенгеймера в Америке, А.Д. Сахарова в России — явные тому иллюстрации).

Похожее наступает в психологии. Если не атомная бомба, то мощь направленной психологической радиации уже вполне открыта и применена на живых людях. Психология активно, порой на первых ролях стала привлекаться к выполнению грандиозных заказов по манипулированию индивидуальным и общественным сознанием: формирование имиджа (не лица, а нужной маски, личины) политиков; навязывание любых (часто вредных, просто опасных) представлений, товаров, услуг; сотворение кумиров молодежи; вовлечение в тоталитарные организации и мн. др. Время чистой психологии ради психологии ушло. Или — иными словами — ушло время безответственной психологии. Психология вполне повзрослела. Она не дитя, которое живет в мире снисхождения и потакания Счем бы ни тешилось), не подросток, которому надо лишь выпятгть и утвердить свой характер. Настала пора проявить личность, а ча-

чит осознать и выбрать общие ориентиры и смыслы движения, понять и честно признать перед собой и миром — какому образу человека мы собираемся служить, соработать в нашей профессиональной деятельности. Если эта книга хоть в малой степени будет способствовать такому осознанию, то труд по ее написанию автор будет считать вполне оправданным.

Москва, 1992-1998...

Содержание

Братусь Борис Сергеевич

РУССКАЯ, СОВЕТСКАЯ, РОССИЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Конспективное рассмотрение

Изготовление оригинал-макета
ООО "СотекЛ"

Л Р № 064625 от 06.06.1996.
Подписано в печать 28.01.2000. Формат 60 x 88/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,5. Уч) изд. л. 4,79. Тираж 10 000 экз. Первый завод 5000 экз.
Изд. № 239. Зак. 426.

МПСИ, 113191, Москва,
4-й Рощинский пр., 9а.

ООО «Флинта», 117864, ГСП-7, Москва В-485,
Профсоюзная ул., д. 90, комн. 326.
Тел.: 336-03-11, факс: 334-72-50
E-mail: flinta@mail.ru

Великолукская городская типография
Комитета по средствам массовой информации и связям
с общественностью администрации Псковской области,
182100, г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, 78/12
Тел./факс: (811-53) 3-62-95
E-mail: VTL@MART.RU